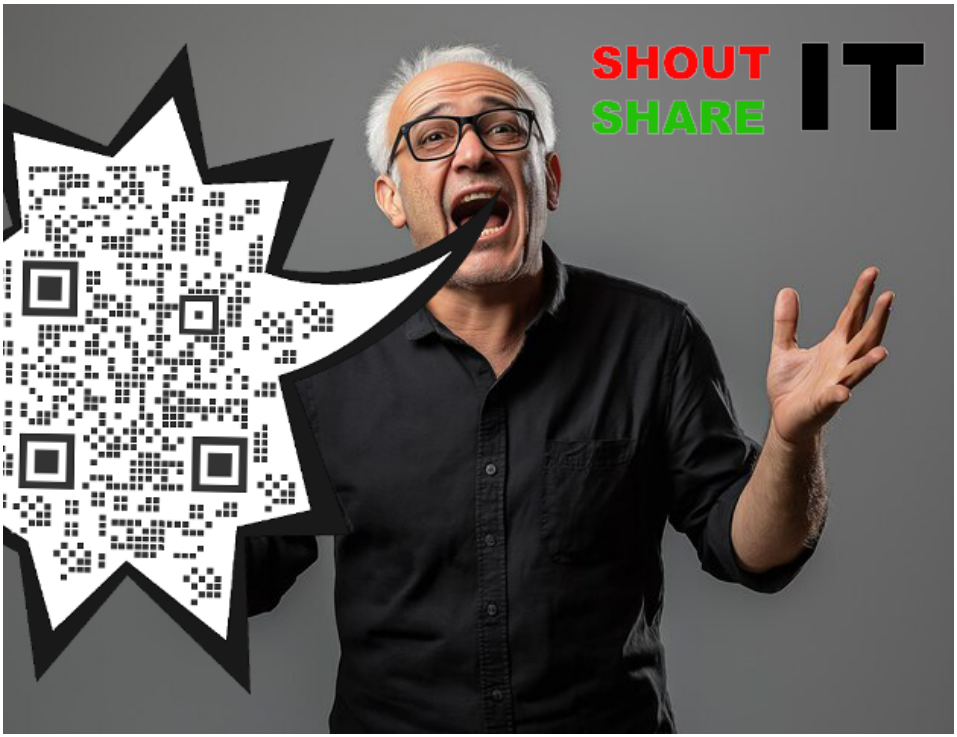
# ГРАНИЦА ЗА БЕРЛИНОМ

П. СМЫЧАГИН


SHOUT
SHARE
IT

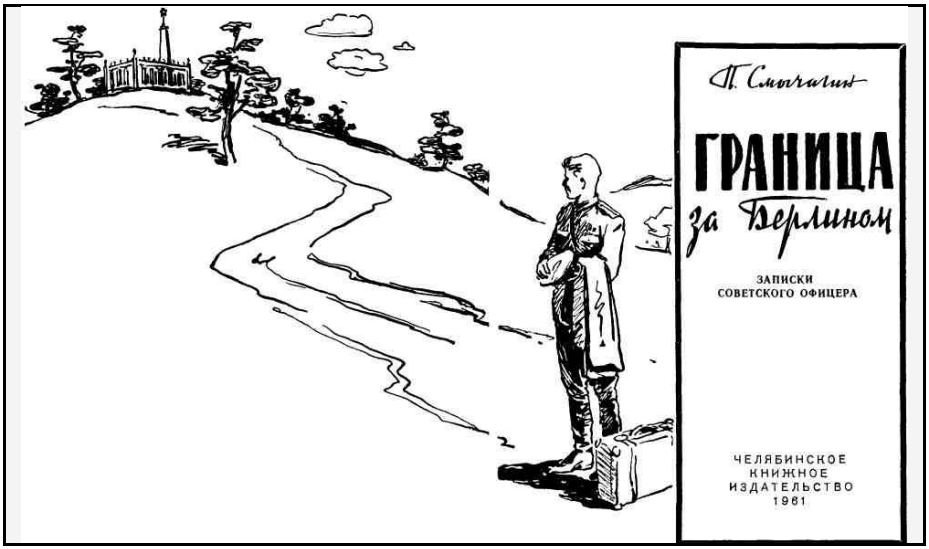
# Annotation

«Граница за Берлином» — первое произведение Петра Михайловича Смычагина. Он родился в 1925 году. После окончания школы работал в колхозе, служил в армии, сейчас преподает литературу и русский язык в школе рабочей молодежи г. Пласта и заочно учится в Челябинском педагогическом институте.

П. М. Смычагин за участие в Великой Отечественной войне награжден орденом Красной Звезды и медалями. После окончания войны Петр Михайлович был оставлен в группе советских войск в Германии. Личные наблюдения т. Смычагина и легли в основу его записок. Большинство фактов, описанных в книге, взяты из жизни, изменены лишь имена героев и названия некоторых деревень.


- Граница за Берлином
  - 
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  - ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

# Граница за Берлином



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## 1

Жаркий майский день клонился к вечеру, когда мы въехали в город. Здесь располагалась воинская часть, в которой мне предстояло продолжить службу.

Черепичные кровли и мощенные булыжником улицы, характерные для Германии, быстро наплывали на тачанку и квартал за кварталом оставались позади. В предвечерней пустоте, улиц гулко и дружно цокали четыре пары копыт. Ездовый молча перебирал вожжи и изредка понукал утомленных лошадей, пробежавших более сорока километров. Впереди конец улицы. Снова асфальт, снова обсаженная деревьями дорога на выезд.

— Куда же ты меня везешь? — спросил я солдата. — Весь город проехали…

— Да мы уже дома, — ответил он. — Вон и казармы.

Ездовый поправил съехавшую на затылок пилотку и, лихо гикнув, погнал лошадей рысью. Слева, недалеко от дороги, показался городок, отделенный от окраины широкой полосой садов.

Проехав еще с полсотни метров вдоль сада, Мы круто свернули к военному городку. Впереди показалась въездная арка, а по обе стороны от нее и в глубине — серые громады угрюмых четырехэтажных зданий.

Часовой у арки остановил нас и потребовал документы.

Вскоре к нам подошел капитан.

— В чем дело, товарищ лейтенант? — спросил он и добавил: — Дежурный по полку к вашим услугам.

Я доложил, откуда прибыл, и предъявил документы. Пока капитан знакомился с бумагами, я рассматривал его.

Весь он был вычищен и выглажен; новенький ремень и портупея поскрипывали при каждом движении; пуговицы, ордена, медали, пряжки ярко выделялись на гимнастерке. Черные брови на смуглом худощавом лице тоже выглядели приглаженными, а взгляд карих глаз казался несколько презрительным.

— Комм мит, — сказал капитан, улыбнувшись и забавно дернув своим подвижным носом.

Он повел меня в полковую офицерскую столовую, усадил за стол и сказал, что я могу спокойно ужинать, он пришлет связного, который уведет меня на ночлег.

— Ауфвидерзейн! Иду служить. Гуляйте! — капитан как бы

нечаянно сдвинул фуражку на затылок и направился к выходу, сверкая начищенными сапогами; голенища их были сдвинуты вниз и плотно прилегали к икрам.

«Щеголь», — подумалось мне. Такие щеголи после войны встречались нередко, но это были либо молодежь — выпускники военных училищ, либо закоренелые штабники. В легкости и подчеркнутой аккуратности этого строевого капитана чувствовалось что-то наигранное.

Не успел я поужинать, как явился связной.

В комнате, куда мы пришли, оказались мои вещи, сваленные в углу. Связной объяснил, что здесь живет Горобский, — капитан, который меня встретил, — что я могу отдыхать на его койке и, пожелав спокойной ночи, ушел.

Койка, стол, три стула, простенький шкаф — все это привычно для глаза военного человека, давно покинувшего гражданский уют. Но большое зеркало в углу, дорогая скатерть с кистями почти до самого пола, шляпа и макинтош на вешалке — вещи, которые не часто встречались в офицерском быту.

Я завалился в роскошную постель и вскоре уснул.

— Гут морген! — услышал я над самым ухом и испуганно вскочил с постели. Около койки — капитан Горобский, в вытянутых руках у него — полотенце. Он приветливо улыбается и не устает повторять:

— Гут морген, камерад! Гут морген, камерад!

Мне становится неловко, а капитан, ничего не замечая, продолжает:

— Вы что же, милейший, проспали подъем, проспали зарядку?.. Этак и завтрак немудрено проспать. Или у вас в полку просыпались, кто когда вздумает?

— С дороги, — отвечал я, нехотя вылезая из мягкой постели. — А на такой перине действительно можно проспать. Давно не приходилось так нежиться.

— Шучу, шучу, — продолжал он. — Я уже доложил командиру полка о вашем прибытии, и он обещал принять вас сразу же после завтрака.

Почти весь день пришлось представляться начальству, знакомиться с сослуживцами, всем говорить, что я Грошев, что служил в таком-то полку, участвовал в боях там-то…

После обеда командир роты, старший лейтенант Блашенко, представил меня взводу. Когда командир спросил, будут ли вопросы, правофланговый, сухощавый и угловатый ефрейтор, вполне серьезно спросил:

— А он — строгий?

Послышались смешки, а Блашенко вспылил:

— Что за шутки в строю, Таранчик! — и потом сухо добавил: — Послужите — узнаете.

На этом и кончилось первое знакомство.

Блашенко показался мне человеком суровым и неприветливым. Продолговатое лицо, нос клювом, небольшие колючие глаза под широкими бровями и чуть сутулые плечи придавали ему вид таежного охотника.

В ротной канцелярии я спросил у него, что за человек ефрейтор Таранчик.

— Прикидывается чудаком, — подумав, ответил Блашенко, — а вообще-то парень занозистый. Вредного ничего не делает, но другой раз так уколет, что больно становится.

Больше я не задавал вопросов.

Перед вечером появилась возможность вселиться в назначенную комнату. Вместе со связным мы отправились к Горобскому. Тот укладывал вещи в чемодан. В комнате царил беспорядок. На полу валялись альбомы, конверты и какие-то коробки.

— Ах, это вы, милейший! — воскликнул он. — Проходите вот сюда… В комнате, как видите, безобразие, но это уже не имеет значения… Душа поет, а ноги пляшут. — И он притопнул ногой.

— Стало быть, есть причина.

— Э-э, да вы, я вижу, сухарь: не можете даже порадоваться с человеком, который едет домой, в Россию. В Р о с с и ю! Одно слово что значит — он шагнул ко мне и начал трясти за плечо, словно желал разбудить. — Нет, я вижу, вы — просто обрубок. Да вы представьте: пройти чуть не всю войну, да еще в разведке, пережить весь этот ад и… остаться живым. Живым остаться! И вот судьба в лице полкового писаря заготовила уже мне билет в Россию, в отпуск.

Не стыдно было и позавидовать такому счастливцу Ведь отпуска разрешали немногим и в первую очередь «старым», заслуженным фронтовикам. Полк же, в котором я служил раньше, расформирован, а на новом месте в графике отпусков я окажусь, очевидно, на последнем месте.

Поблагодарив капитана за приют, я направился к выходу.

— Приходите проводить! — крикнул вслед Горобский.

## *2*

На новом месте в окружении малознакомых людей чувствуешь себя всегда несколько стесненно. Вот передо мной стоит взвод. В строю — молодые, внешне почти одинаковые

люди. Каковы они?

Чумаков, помощник командира взвода, человек не по годам серьезный. Подчиненные его уважают и выполняют приказания точно, в срок, со старанием. Чумаков отпускает взвод, чтобы солдаты взяли оружие и приготовились к тактическим занятиям. Сам же, не сходя с места, следит за выполнением приказания. Стройный, высокий, безупречной выправки, он действительно может служить примером для любого солдата.

У стеллажа, где стоят пулеметы, командир первого отделения Жизенский приказывает:

— Таранчик, бери станок!

— Не возьму, — отвечает Таранчик.

Чумаков сдвигает брови, раздвоенный подбородок чуть-чуть подается вперед, но он не вмешивается в разговор.

— Почему не возьмешь? — запальчиво опрашивает Жизенский.

— Первому номеру положено тело, а не станок.

— Но ведь вы всегда носили станок.

— Всегда носил не по уставу, а сегодня по уставу. Пусть его второй номер несет. Бери, бери, Соловушка, не стесняйся, — говорит Таранчик и кладет себе на плечо отнятое от станка тело пулемета.

— Давайте мне, — со вздохом говорит маленький, кругленький Соловьев. Жизенский помогает ему взвалить на плечи двухпудовый станок «Максима», и они становятся в строй.

Таранчик прав: действительно, по уставу первый номер должен нести тело пулемета, а второй — станок. Но ведь носил он станок до сих пор? Косые взгляды Таранчика в мою сторону дают основание думать, что прибытие нового командира имеет какое-то отношение к его действиям…

На полигоне, когда отшумела учебная атака и был объявлен отдых, солдаты, обливаясь потом, собрались в круг, закурили. Полигон покрыт мелкой травой, изрезан траншеями и неглубокими балками.

Ефрейтор Таранчик расположился на самой высокой кочке, подвернув по-татарски ноги. Он не спеша обшарил карманы и, не найдя в них того, что искал, командирским тоном сказал:

— Солдат Журавлев — кисет!

— Соврал бы что-нибудь, — попросил Журавлев, подавая вышитый кисет.

— Врать не буду, — ответил Таранчик, скручивая «козью ножку», — а коли слухать будете, отчего ж не рассказать…

Видно было, что этот большой, несуразно скроенный человек занимал в коллективе особое место. Огромный, будто

наклеенный, облупившийся от жары нос, здоровенные оттопыренные уши и большущий рот делали лицо смешным. Пилотка, хоть и была самого большого размера, не могла закрыть его продолговатую голову и едва держалась над ухом.

Стряхнув с шершавой ладони мелкую махорку, Таранчик глубоко затянулся крепким дымом и с торжественностью в голосе начал:

— То было, хлопцы, когда мы уже за Одер вышли. Да вы ж знаете, как тогда фрицы от нас бежали. Ох же, и драпали, скажу я вам. Гонимся мы за ними, из сил повыбивались, а не догоним, да и только. Посмотрел на нас маршал Рокоссовский, видит: от души стараются хлопцы, а отстают. Посадили тогда матушку-пехоту на танки — да за ними. Вот же где мы им пятки попридавливали! Влетаем в одну деревню, останавливаемся. Танкам заправиться надо, а пехота ж есть пехота: полдня просидела на танках, так и разминочка требуется. То-то ж и пляс устроили прямо на асфальте. Здорово получается!

— И ты плясал? — поинтересовался Жизенский.

— А как же! На фронте я считался добрым плясуном…

— Врет, — заметил Журавлев.

— Не мешай! — остановили его.

— Только мы расплясались, слышу: командир взвода кличет. Ох, и добрый же был у нас командир, хлопцы! — Таранчик плутовато скосил глаза в мою сторону и сокрушенно добавил: — Нет, такого командира я больше никогда уже не встречал… Подзывает он меня вместе с молдаваном Бентой и дает задание: прочесать с одной стороны полулицы. Я, конечно, старший. Хоть и был рядовым еще, а уже тогда доверяли. Заходим мы в крайний хауз, спрашиваем у хозяйки: «Солдаты есть?» — Нет, — говорит, — никс, нету». — Пошли на улицу. А у меня нюх собачий, это вы знаете (у кого махра есть, доразу учую). Обнюхал воздух — пахнет фрицами. Смотрю: под сараем солома свалена. Подхожу, а из соломы торчит подкованный ботинок и чуть-чуть этак пошевеливается. — Таранчик показал, как шевелился ботинок. — Ковырнул штыком, а он, дьявол, лежит и глаза прикрыл, будто мертвый, и винтовка рядом. «Вставай, — говорю, — чертова кукла!»… Поднимается этакая жердь, навроде меня, весь в соломе и руки — кверху. «Хитлер капут! Хитлер капут!» — бормочет. «И без тебя, — говорю, — знаем, что Гитлер капут, а вас, чертей, сколько тут?» Крутит башкой, «никс форштейн», говорит. Что с него возьмешь? Бента забрал у него винтовку. Я пошарил в соломе — еще четверых выкопал. А Бента собрал у фрицев винтовки и собрался их нести. «Дурак ты, — говорю. — Что ты, ишак что ли?» Вытащил из винтовок затворы,

отдал их Бенте, а винтовки — «на плечо», а мы с Бентой — сзади, винтовки — «на руку». Так и прибыли до командира. Солдаты смеются: им что! А мне, конечно, попало от командира взвода, как полагается. «Почему, — говорит, — не разоружил?» — «Да как же, — говорю, — не разоружил: затворы-то вон все у Бенты». — «А штыки, — говорит, — зачем?» Ну, тут уж пришлось идти на храбрость… «Русский, — говорю, — штык трех немецких стоит. А нас — двое. Да нам не страшны шесть штыков, а их только пять. Чего ж тут бояться?»

— И простил тебе командир? — спросил я Таранчика под общий смех.

— Простил! Это, может, какой другой не простил бы, непонимающий, а тот простил. Я ж говорю, что добрый был командир. Все простил, еще за храбрость похвалил…

— Тебя не наградили за это?

— А куда девали пленных?

— Э, хлопцы, награды мне и не надо. А только зря их вели до командира полка: отпустил на все четыре. «Идите, — говорит, — работайте…»

Было видно, что если Таранчика не остановить, если не поднять взвод, то его рассказов хватит до вечера.

После команды «разобрать оружие», я заметил, что станок пулемета первого отделения надежно покоился на крепких плечах Таранчика, а Соловьев, подпрыгивая около него с телом пулемета, просил отдать станок.

— Нет, Соловушка, ты устал. Тебе, пташка, и того хватит, что несешь, — говорил Таранчик с такой нежностью, которая никак не шла к его нескладной внешности.

Я понял: Таранчик изучает меня. Он хочет «прощупать» командира.

Когда мы вернулись с занятий, дневальный сообщил мне, что просил зайти капитан Горобский: его связной приходил уже дважды.

У подъезда, в котором жил Горобский, стояла тачанка, запряженная парой гнедых коней. Из дверей вышел солдат с двумя чемоданами, а за ним — офицеры и среди них — Горобский. Проводы, видимо, не обошлись без спиртного. На Горобском это было особенно заметно.

— А-а, милейший! — увидев меня, простонал он, как от зубной боли. — Вот видите, друзья, этот новый товарищ неисправим: он вечно опаздывает. Вы, случайно, не проспали, герр лейтенант? Или у вас в полку было заведено опаздывать?

— Простите, — возразил я, — но разве можно судить о дисциплине целого полка по одному неаккуратному человеку?

— Не знаю, милейший, не знаю, — заметив мою вспышку, продолжал Горобский. — Н-не могу знать… Н-ну, что же… Вместо «здравствуйте», мне придется сказать «до свидания». Он подал мне руку и, легонько кивнул головой, сказав: — До свидания, милейший. — Горобский легко вскочил на сиденье тачанки, и она бесшумно покатилась по асфальту.

## *3*

Вскоре пришло пополнение.

Среди новичков, прибывших во взвод, не было фронтовиков. Это были люди, в годы немецкой оккупации угнанные на работу в Германию. Они испытали лагерную жизнь, а после освобождения пришли в армию.

Правофланговым в строю взводного пополнения стоит Земельный. Это — богатырь. Крупные черты лица, коричневый загар и глубокие складки на лбу придают ему вид суровый и даже мрачный. На вопросы отвечает неохотно, густым басом.

Рядом с ним Путан кажется маленьким, хотя это человек среднего роста, коренастый и крепкий. Лицо скуластое. В глазах — устоявшаяся грусть.

В самом конце строя — молоденький солдат. Он похож на подростка, одетого в военную форму. Гимнастерка висит на худеньких плечах, но заправлена она очень тщательно. Солдат подтянут, стоит прямо, смотрит бодро. Это — Колесник. На мой вопрос, сколько ему лет, он бойко, девичьим голоском отвечает:

— Вчера исполнилось девятнадцать.

— В армии давно?

— Я доброволец, товарищ лейтенант. Из лагеря домой не поехал: решил отслужить, а потом и домой. Уж год дослуживаю.

— Как же тебя приняли досрочно?

— А я год себе прибавил, оттого и приняли. Документов у нас не было никаких.

…В пятом часу утра, когда спалось особенно крепко, я почувствовал резкий толчок в плечо и, еще не проснувшись как следует, вскочил с койки.

Тревога!

Дежурный по роте — уже за дверью; оставив ее распахнутой настежь, он устремился в другие двери, которые тоже оставлял открытыми, и взывал:

— Тревога! В ружье!

— Неужели опять? — мелькнуло в голове, когда руки автоматически натягивали сапог. На ходу опоясываясь ремнем, я

бросился в солдатскую спальню. Пистолет оттягивал ремень книзу, поэтому никак не удавалось вдеть его конец в пряжку.

В казарме творилось то, что всегда бывает при тревоге. Кое-где еще мелькали простыни, взвиваясь выше второго яруса коек; глуховатый голос бубнил спросонья, что кто-то навернул его портянку, а ему осталась чужая; солдаты, продолжая одеваться на ходу, бежали к оружию; щелкали пулеметные замки, винтовочные затворы, своим особенным звуком шуршали по стеллажу разбираемые коробки с лентами; у кого-то без конца срывалась возвратная пружина, и он негромко стучал крышкой по коробу пулемета, стараясь надеть ее.

Среди этого приглушенного шороха, возни и щелкания послышался звонкий голос лейтенанта Мартова, командира первого взвода.

— Лейтенант Грошев, ко мне!

Я подошел к Мартову, стоявшему в противоположном углу.

— Ты бы помог своему Таранчику собраться. Видишь, как старается, даже вспотел.

Действительно, было на что посмотреть. Таранчик сидел на койке и, торопясь, сматывал обмотку. Ни единая пуговица на гимнастерке не была застегнута. Пилотка сидела на самом затылке поперек головы.

— Вот скаженна! — ворчал он вполголоса. — Ну, чтоб хоть покороче была, так нет же — на вот тебе ровно два метра! По уставу…

В это время валик обмотки снова выскочил из дрожащих рук Таранчика и развернулся по полу.

— Тьфу, проклятая! Да так десять метров перемотаешь!.. И зачем только мама на свет родила такого урода! У всех ноги, как ноги, а тут… И-эх!

Таранчик скомкал обмотку и начал навертывать ее на ногу. В самом деле, ему было досадно: все солдаты роты ходили в сапогах, даже ни на одном из новичков не было ботинок, а на его ногу не нашлось на складе сапог, и пришлось их заказывать.

— Таранчик, чего ты там копаешься? Бери свой станок! — кричал командир отделения, сержант Жизенский.

А из дверей дежурный уже торопил:

— Выходи строиться!

— Таранчик, в строй! — приказал я, и мы с Мартовым побежали на улицу. Там в сероватой предутренней мгле поротно выстраивался весь полк. Чумаков уже построил взвод. Солдаты поеживаясь от утренней свежести, стояли в строю, но кто-то еще застегивал пуговицы, кто-то прилаживал поплотнее шинельную скатку, кто-то проверял оружие.

Еще, пожалуй, за целую минуту до того, как командир роты подал команду «равняйсь», я проверил солдат взвода. Каково же было удивление, когда я увидел Таранчика, стоявшего на правом фланге. Все пуговицы застегнуты, гимнастерка заправлена без единой морщинки, скатка — на месте, как и полагается, подложена под сгиб пулеметного хобота.

Другие солдаты взвода тоже уложились вовремя. Только Соловьев все еще копался со скаткой. Этот кругленький человек всегда от всех отставал, за это Таранчик постоянно подтрунивал над ним. Но тот же Таранчик защищал Соловьева от нападок других и помогал ему во всем.

Серые глаза Соловьева под темными бровями были так наивны, а припухшие губы и розовые щеки придавали ему такой детский вид, что в первое время я не мог быть к нему столь же требовательным, как к остальным.

Быстро выровняв взвод, я подал команду «смирно» и объявил:

— Ефрейтор Таранчик, благодарю за хорошую службу!

— Служу Советскому Союзу! — ответил он так, что его услышали в соседних подразделениях.

— Кто там благодарностями разбрасывается? Опять вы, Грошев? — раздался голос Блашенко откуда-то с правого фланга. — Лучше бы потрудились доложить командиру роты о готовности взвода, — ворчал Блашенко, выходя перед строем. — Рота, р-р-равняйсь!

Он очень любил командовать, «родился в гимнастерке», как он сам говорил, и поэтому слова всякой команды выговаривал с каким-то особым смаком.

— Смир-рно!

После обычных рапортов о готовности подразделений и многократных проверок, полк двинулся в путь. Слышно было покашливание людей. Колонна длинной змеей ползла по улицам спавшего города. Даже деревья, и те, казалось, дремали.

— А станок я все-таки не буду тащить за Соловьева всю дорогу, — ворчал у меня за спиной Таранчик.

— Это дело твоей совести, — строго сказал я. — Можешь передать его сейчас же.

Таранчик притих и больше не возобновлял этого разговора в течение всего пути. Даже когда Соловьев предлагал хоть на время сменяться ношей, он отказывался.

Когда голова колонны покинула последнюю городскую улицу, справа над равниной, по которой были разбросаны деревушки, взошло солнце.

Уже в походе мы узнали, что марш будет длительный с большой остановкой в пути. Поговаривали о том, что обратно

сюда не вернемся, но по-настоящему никто не знал, куда же придется идти и где остановиться. Такова уж солдатская жизнь: встал, встряхнулся и пошел хоть на край света раз есть приказ.

…Дорога шла по совершенно открытой местности, и к полудню стало очень жарко. Подразделения далеко растянулись по шоссе. Впереди показалась деревня. На обочине дороги стоял открытый автомобиль. Полковник Тарутин, стоя около него, подбадривал солдат:

— Веселее, орлы! Выше головы! Песню!

Кто-то впереди трубным голосом начал:

Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спале…

И подхватили все:

Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

Далеко впереди загремел оркестр. По мере приближения к деревне звуки оркестра все более властно врывались в песню, заглушая ее.

— Отставить песню! — скомандовал Блашенко.

Миновали тихую, полусонную деревню. Ко мне подошел лейтенант Мартов. Его промокшая от пота гимнастерка и осунувшееся лицо говорили об усталости, но живые глаза светились энергией. Этот худощавый, с редкими веснушками на лице человек отличался неутомимостью и бодростью.

— Вон лесок, видишь, Миша? — сказал он, указывая вперед, чуть левее колонны. — Это наш лесок. Пора передохнуть солдату, — Мартов раскрыл планшет и ткнул пальцем в точку на карте. — Видишь? Дом родной!

Я изрядно устал, даже разговаривать не хотелось.

Наконец колонна приблизилась к лесу, и Мартов побежал к своему взводу.

Редкий сосновый лес не встретил нас ожидаемой прохладой: в нем не было ни настоящей тени, ни ветерка. Зато нашлось маленькое круглое озерко с прозрачной холодной водой. Оно оказалось неглубоким. Таранчик одним из первых бросился с низкого берега и теперь, загребая воду и громко фыркая, плыл к середине. Соловьев, раздевшись, не решался сойти в воду. Фролов и Земельный стояли на берегу одетые.

— Порхай в воду, Соловушка! — крикнул Таранчик. — Или

соловьи не плавают?

Вернувшись, он выскочил на берег, подхватил Соловьева, поднял его над головой и понес в воду.

— А вы чего, хлопцы, не раздеваетесь? Смотрите, чтоб не покаялись. Подпаритесь! — пригрозил он стоявшим на берегу. Соловьева, который извивался в его руках, Таранчик унес далеко от берега и бросил там в воду; тот взвизгнул, окунулся, вынырнул и саженками поплыл на середину.

— А вы чего сиротами прикидываетесь! — накинулся подошедший Мартов на Земельного и Фролова. — А ну, марш в воду!

Земельный нехотя начал раздеваться, а Фролов продолжал стоять.

— Ну, а ты чего раздумываешь? — прикрикнул на Фролова Мартов и начал быстро раздеваться.

— Я плавать, товарищ лейтенант, не умею.

— Хлопцы научат, — сказал Земельный. — Здесь мелко. Пошли!

Фролов и Земельный, не торопясь, начали раздеваться. Земельный и в одежде напоминал богатыря, а раздетый он и вовсе походил на Прометея, и Фролов рядом с ним казался сухой щепкой. Лишь когда Земельный повернулся спиной к озеру, чтобы уложить одежду, стало понятно, почему он не хотел купаться. Вся его спина была изуродована рубцами.

Я стоял недалеко от берега, готовый броситься в воду, но теперь забыл об этом.

— Где это тебя так? — тихо спросил Фролов. Земельный хмуро взглянул на него и, ничего не сказав, тяжело пошел в воду.

Карпов, увидя спину Земельного, воскликнул:

— Кто это тебя так?..

— Любашка дюже горячо обнимала, — неласково ответил Земельный. Он плавно погрузился в воду и, загребая огромными руками, легко поплыл от берега.

— Чудак ты, — возразил Таранчик. — Кто же может сделать такое, кроме фашистов.

— Рота, кончай купаться! — кричал с берега дежурный по роте. — Обе-едать!

Из воды начали выскакивать солдаты, освеженные купанием.

## *4*

Рано утром колонна остановилась на опушке большого соснового леса, вблизи артиллерийского полигона, который

тянулся далеко на север. Солдаты, составив ружья «в козлы», получали боеприпасы, набивали пулеметные ленты холостыми патронами, заливали в кожухи пулеметов воду. Офицеры были собраны на совещание к командиру подразделения. Там же был зачитан приказ о занятии позиций. Оказалось, что большая часть нашего подразделения ушла на другую сторону полигона, чтобы сделаться «противником», от которого нам придется «обороняться». И уж всякому известно: оборона — это окапываться и готовиться к отпору.

Возвратившись с совещания, мы застали роту в состоянии деятельной подготовки к предстоящим «боям». Илья Коробов, командир третьего взвода, подошел к Фролову, укладывавшему снаряженную ленту в коробку.

— Чем вы занимаетесь? — спросил он.

— Оружие готовим, товарищ лейтенант, — бойко ответил Фролов.

— А ну, покажи лопатку.

Фролов отстегнул лопату и подал Коробову. Тот, пощупав ее лезвие, строго сказал:

— Лопаты точить надо! Это вам не то, что до сих пор: выйдут в поле взводом, постреляют и — домой. Здесь сначала покопать придется, учтите! — Коробов отдал лопату и поспешил к разостланной плащ-палатке, на которой мы собрались завтракать.

— К-хе-ге! Вот эту крепость мы должны взять штурмом, — сказал он и прилег на край плащ-палатки.

— Какую крепость? — не понял Мартов.

— А котелок-то. Это, брат, железная крепость, — серьезно разъяснил Коробов. Этот человек, высокий и плотный, обладал незаурядной силой, все он делал как бы сплеча.

Плюхнувшись на плащ-палатку, он неловко заворочался на ней и опрокинул крышку котелка с котлетами.

— У-у, медведь, — ворчал Мартов. — И вечно у него несчастия. Подвинься!

Коробов послушно отодвинулся на край плащ-палатки, собрал рассыпанные котлеты и с обычным усердием принялся за еду.

Солдаты, возвращаясь от походной кухни, группами устраивались на завтрак.

После завтрака Коробов свернул плащ-палатку, положил ее под голову и развалился на мягкой хвое.

— У нас на Орловщине говорят: после хлеба-соли — семь часов отдыху!

— У нас тоже говорят, только посмотрим, удастся ли тебе это, — возразил Мартов.

— Да-а, а дома уж я бы не упустил такого случая, — мечтательно произнес Коробов и закрыл глаза, пытаясь задремать.

— А ведь я был бы сейчас в Харькове, — с сожалением выговорил Блашенко, — если бы не Горобский.

— А что Горобский? — спросил Мартов.

— Хотя Горобский и в самом деле тут ни при чем, — словно про себя продолжал Блашенко, — ведь он не подавал рапорт. Это — батя. Это он поставил меня в график, а его отпустил в первую очередь… Заслуженный, что сделаешь.

— Конечно, заслуженный. Разведчик ведь — глаза и уши полка, — вступился Мартов. — «Языков» они исправно доставляли.

— Сам что ли он за «языками» ходил, — возразил Блашенко. — Он и в разведку за то только попал, что по-немецки где-то раньше научился говорить.

— Ходил и сам, — не уступал Мартов, — даже, говорят, в форму немецкого офицера одевался…

— Вот-вот, — перебил его Коробов, — нарядиться он может. Нагладится, начистится — артист! А уж рассказать-то он сумеет, тоже не хуже артиста, — заключил Коробов и повернулся вниз лицом, уткнувшись в свернутую палатку.

Все замолчали.

— Смотрите! А ведь это «противник» там ползет, — вдруг сказал Мартов, указывая на невысокие холмы.

Мы быстро поднялись и стали всматриваться в даль полигона. Действительно, между невысокими холмами мелькнули два броневика, и за ними, вздымая пыль, быстро скрылся за бугром легкий танк.

— Батюшки, опять война, опять солдату маяться! — комически взвыл Коробов, на диво бесшумно оказавшийся возле нас. Он стоял, приставив к глазам бинокль и указывая на гребешок серого холма. Внимательно присмотревшись, там даже простым глазом можно было обнаружить присутствие «царицы полей». Наш «противник» начал уже окапываться. Ниже гребня холма, растянувшись цепочкой, деловито копошилась пехота.

— А что там за журавли стоят? — спросил Коробов, продолжая изучать местность.

— Для англичан они были страшными журавлями, — пояснил Блашенко. — Это катапульты. С них гитлеровцы запускали свои самолеты-снаряды на Лондон.

— О-о! — протянул Коробов. — А на вид так себе, чепуха, штучки… На строительные краны похожи.

Блашенко вернулся к разостланной плащ-палатке и лег на

нее. Мы с Мартовым последовали его примеру.

— Воздух! — во все горло закричал Коробов, но никто не двинулся с места. Гражданский самолет шел стороной на большой высоте, не имея никакого отношения к нам.

Скоро был отдан приказ, и, мы, наконец, двинулись на позиции.

## *5*

Началось сооружение долговременной обороны по всем правилам инженерного искусства. Солдаты, раздевшись по пояс, копали окопы и старательно их маскировали.

Вскоре появилась настоящая передовая линия обороны с дотами и блиндажами. В тылу возводилась вторая линия, а еще дальше — третья.

В одну из «фронтовых» ночей мы с Мартовым, обойдя посты, вылезли за тыльную стенку траншей и, развалясь на траве, закурили.

— Кто там наверху курит? Марш в траншею! — послышался сердитый голос Блашенко. Пришлось спуститься и покурить внизу. Но нам хотелось продолжить удовольствие, и, бросив окурки, мы снова вылезли на траву против нашего блиндажа.

Кое-где вздымались в воздух ракеты, и выхваченный из темноты рельеф полигона казался очень похожим на тактический макет в учебном кабинете. Изредка слышались отдельные выстрелы из винтовок и короткие автоматные очереди — внешне все, как на фронте, только нет ощущения настоящей подстерегающей опасности.

Мы молча лежали и с удовольствием вдыхали свежий воздух, глядели в бездонную пучину черного неба, усеянного множеством звезд. А мысли уносились далеко-далеко, в родную уральскую деревню.

Теперь там не глубокая ночь, а пятый час утра. Деревня просыпается. Женщины, подоив коров, гонят их на окраину деревни. Стадо собирается у пруда, над которым клубится пар. Облако пара, молочно-белое у воды, начинает розоветь сверху от зари, разлившейся над бором. Утки, проснувшись в камышах, под покровом тумана безбоязненно выплывают на середину пруда и громко крякают.

На колхозном дворе сейчас много людей, и двор похож на муравейник. Слышатся голоса ребят и звонкие, задорные — девчат. Наших девушек! И где-то среди них — она…

Короче говоря, в мыслях и в сердце было то, что называется

тоской по родине.

Вдруг метрах в двадцати от нас послышался тревожный вскрик и потом шепот.

Я успел разобрать только:

— Спа-акойно, милейший!

В этих словах и голосе улавливалось что-то очень знакомое, но вспоминать было некогда.

Мы вскочили, как по команде. Приглушенный шум напряженной возни быстро удалялся в сторону «противника». Из ближней ячейки застрочил пулемет, сверкнул луч карманного фонаря, и почти одновременно в воздухе зажглась ракета. Я перепрыгнул через окоп и, не чувствуя под собой ног, понесся к группе людей, удалявшихся от линии наших траншей. Я еще успел расслышать, как Мартов приказывал кому-то в траншее:

— За мной! Быстро!

Ракета погасла, и я свернул немного влево, чтобы опередить этих людей и преградить им путь. Не знаю, как я оказался впереди бегущих, по понял, что задержать их не хватит сил. Люди, заметив меня, взяли еще левее. С криком: «Стой!» я выстрелил вверх и ринулся на них. Через мгновение меня подмяли, и я оказался в самом низу свалки. Сцепившись клубком, люди катились по полю. Я старался не только оказаться наверху, но самое главное — задержать группу или хотя бы одного-двух. Послышались голоса подоспевших с Мартовым солдат, и я усилил попытки выбраться наверх. На мне барахтались люди, я задыхался.

— Где Михаил? — раздался громовой голос оказавшегося тут же Коробова. Упершись в землю каблуками, я выгнулся мостиком и крепко обхватил лежавшего на мне человека. В самое лицо пахнуло чье-то горячее дыхание, и опять знакомые слова:

— Спокойно, милейший, спа-акойно!

Еще одно резкое движение — и я наверху.

— Миша, жив! Го-го-го-го! — хохотал Коробов.

Четверо разведчиков сбежали, а трое — офицер и два солдата — были в наших руках. На обратном пути мы нашли человека в мешке. Коробов развязал мешок и вытряхнул из него Соловьева.

— Эх, несчастный! Спать поменьше надо.

— Я не спал, — пискляво оправдывался Соловьев. — Только отвернулся, а они сразу — цап! Да еще и рот завязали и руки…

В это время снова взвилась в черном небе ослепительная ракета. Я взглянул на пленника, шагавшего рядом, и был поражен.

— Так это вы, капитан Горобский? — еле нашелся я.

— Да я, капитан, — ответил он каким-то глухим, надорванным голосом.

— Горобский! — вырвалось почти одновременно у Мартова и Коробова, шедших сзади.

— А мы думали, что вы давно дома! Вы же домой уехали?

— Думать никому не запретишь, — мрачно и нехотя ответил он. — Бывает и не так, как думаешь.

Мы подошли к траншее и, спустившись в нее, вошли в блиндаж.

— Ба! Знакомые все лица! — воскликнул Блашенко, увидев Горобского. — Ты-то зачем здесь, капитан?

Горобский прошел в дальний угол землянки, сильно припадая на левую ногу.

— Приветствовать по-армейски не имею права. Как видишь, ваши гвардейцы лишили меня ремня и оружия и попортили форму, — проговорил Горобский, подал Блашенко руку и присел на патронный ящик. — Особенно постарался Грошев. Не ожидал я от него такой прыти: с виду кажется слишком интеллигентным для такой черной работы.

— А ногу тебе тоже они попортили?

— Нет, нога сама собой. Если бы не эта проклятая нога, не видать бы вам вашего Соловьева.

— Тоже нашли кого тащить! — вставил Коробов, — Вы бы Земельного утащили или Таранчика.

— Нет, ты расскажи сначала, почему ты не дома и почему воруешь своих солдат?

— Это что, допрос?

— А ты как думал? Наш офицер оказался в рядах противника, пытался стащить нашего солдата, да еще чтоб не допрашивали? — улыбнулся Блашенко.

— Добро, повинуюсь, герр оберлёйтнант. Давай для начала закурим, потом расскажу все по порядку. — Вставив сигарету в наборный мундштук и жадно затянувшись, Горобский продолжал:

— Все проще простого. На грех, говорят, мастера нет. Не успел я доехать до Берлина, как начала здорово беспокоить эта злосчастная нога. Распухла и ломота была нестерпимая. Черт знает, может, от раны, а может, ревматизм. Словом, пришлось завернуть в госпиталь, а пока там лежал, время шло, и на границе придрались к пропуску — не пустили. Потом все ушли из города. Я отправился на поиски. Долго не мог вас разыскать, случайно попал в стан «недругов» и так временно оказался вашим «противником». Как видите, все очень просто.

— Просто-то оно, конечно, просто, но я бы на твоем месте, — возразил Блашенко, — и не подумал о госпитале. Ползком бы

дополз, на боку докатился. Только мертвого меня могли вернуть.

— Ну, это еще проверить надо…

— Нечего проверять. Только бы отпустили… Остается поздравить тебя с благополучным возвращением из отпуска, — съязвил Блашенко.

На шатком столике, сооруженном на пустых ящиках из-под боеприпасов, светился пугливый огонек плошки. Лицо Горобского было мрачно и казалось злым. Весь он поблек, осунулся, и вид его пробуждал во мне горячее сочувствие.

В самом деле, после стольких трудных лет человеку выпало счастье побывать дома, он был уже на пути к цели, а вот поди же, какое несчастье.

Утром капитан Горобский отправился к командиру подразделения. Он сильно хромал и, морщась от боли, говорил на прощание:

— Не бойтесь, больше не буду вашим врагом. Думал, что зажило, а, наверно, придется опять на боковую…

Мы с Мартовым проходили по ходу сообщения мимо пулеметной ячейки, где разместился пулемет отделения сержанта Жизенского. Соловьев сидел на площадке, свесив короткие ноги. А Таранчик, согнувшись втрое, присел на две коробки с лентами и, неторопливо пуская дым из «козьей ножки», укоризненно и монотонно «пилил» Соловьева:

— Что, Соловушка, побывал в клетке? Тебе бы гусей пасти — ладно, а то на пост поставили, да еще ночью.

— Если б я с тебя был…

— Кхе-ге! Ишь ты, мальчик какой нашелся. Как есть, так он — взрослый, а на службе ребенком прикидывается. Видел я, как ты после завтрака за добавкой бегал.

— Оставь ты его, Таранчик, — вмешался Мартов, — видишь, и без того человек переживает.

— Переживает он…

— Довольно, Таранчик, — сурово сказал я, но он и не думал униматься и, обращаясь к Мартову, продолжал:

— Дали мне такого напарника, что его самого охранять…

— Хорошо, — перебил я его, — завтра же у тебя будет заменен второй номер…

В это время по цепи из ячейки в ячейку неслось приказание:

— Командиры взводов — к командиру роты!

Таранчик притих, а Мартов, уходя, посоветовал ему:

— Ты все же прекрати свои шутки.

— А вы это про замену… сурьезно? — вдогонку, запинаясь, спросил Таранчик.

— Вполне серьезно.

Я знал, что несмотря на кажущуюся неприязнь к Соловьеву, Таранчик любил его.

Мы шли по ходу сообщения, из глубины которого виден был только голубой лоскут неба, покрытый кое-где кучевыми облаками. Сильно парило. С наблюдательного пункта было видно, как плотно затягивался тучами весь северо-восток.

Старший лейтенант Блашенко, которого мы застали в своем блиндаже, только что вернулся от командира подразделения и рассказал нам, что через день мы должны покинуть этот полигон.

— Вот как! — удивился Коробов. — Пока стояла хорошая погода, мы лежали в окопах, а теперь по дождю «воевать» придется…

— Ничего, — успокоил его Блашенко. — Никакого дождя пока не видно. А «воевать» теперь не скоро придется. Отсюда, кажется, пойдем на демаркационную линию. Там негде будет обучаться…

— На линию? — удивился Коробов.

— Да, на линию, — подтвердил Блашенко. — Это почти точно. Но об этом поговорим потом, а пока приказываю тщательно проверить готовность всех огневых средств к активной обороне, обеспеченность боеприпасами, готовность пулеметов к ночной стрельбе, составить новые стрелковые карточки. Вечером соберемся снова. Всё. Выполняйте.

## *6*

Рассвет следующего дня занимался так, же ярко, как и все предыдущие рассветы, проведенные на этом полигоне. За ночь в нашем секторе никаких изменений не произошло. Было по-прежнему тихо, даже, казалось, тише, чем обычно. Но все было полно ожидания.

С первыми лучами солнца бойко заработала артиллерия «противника», и нехотя, словно не желая начинать эту игру, ответили наши пушки. Около окопов то и дело взрывались мины. Они имитировали огонь «вражеской» артиллерии. От этого создавалась картина, довольно близкая к настоящей суровой битве.

Хотя лица солдат были серьезны, но не было тех напряженных взглядов, которые бывают в настоящем бою.

Даже Соловьев, расхрабрившись, все время высовывался из окопа и неотступно следил за ходом «боя». А Таранчик стаскивал его с площадки и увещевал:

— Сиди, соколик, сиди вот здесь. Прижмись и слухай, как эта

музыка играет. Мины же вон совсем рядом рвутся.

Слишком свежи были воспоминания о недавно минувших боях, где не просто грохали орудия, взрывались мины, слышалась автоматная трескотня, но и лилась человеческая кровь. Поэтому игра не могла вызвать ощущение настоящего боя.

Таранчик деловито расставил на площадке коробки с лентами, снаряженными холостыми патронами, вложил ленту, передернул рукоятку и дал пробный выстрел.

— Кто там стреляет? — закричал с наблюдательного пункта Блашенко.

Таранчик присел в окопе, делая знаки Жизенскому, чтобы тот не выдавал его.

Часов в десять со стороны «противника» к нам двинулись два легких «танка», а за ними поднялась и пехота.

«Пушки» умолкли, совершенно притихли автоматы, зато поднялась судорожная трескотня пулеметов и винтовок холостыми патронами. Солдаты из наших окопов успевали бросать гранаты, пока не подошли танки и пехота.

Увлеченные игрой, мы не заметили, как небо посерело, закрылось тяжелыми тучами, и начал накрапывать частый дождик.

— Дождались праздничка, — ворчал Коробов, глядя на небо. — Теперь, как черти, вылезем отсюда. — Он набросил на себя плащ-палатку и приставил к глазам бинокль.

Танки с ревом неслись прямо на наши окопы. Пулеметы бешено бились в руках почерневших от пыли и копоти пулеметчиков. Передний танк был всего в пяти-семи метрах от окопов, когда Таранчик неистово заорал:

— На дно, соколики! Сейчас погребать нас будут! — Он, не выдернув ленты, сорвал с площадки пулемет. Со стенок окопов посыпались куски глины, запахло чадом от работающих моторов. Передний «танк», перевалив через траншею и засыпав ее наполовину землей, качнулся и двинулся в глубину нашей обороны. Рядом и несколько сзади прошел второй «танк».

Таранчик успел запустить вдогонку последнему «танку» деревянную гранату и несколько комков глины.

— Горит, проклятый! — закричал он.

В это время со стороны «противника» грянуло могучее ура. Не успел Таранчик выбросить свой пулемет на площадку, как окопы заполнились наступающими, и пошла беззлобная, шутливая потасовка. На него сверху прыгнул солдат «противника», но он ловко сбросил его с плеча, повалил на дно окопа и уселся на него верхом.

Соловьева прижал к стенке окопа тоже маленький, но

широкоплечий солдатик со смуглым узбекским лицом. Фролов и Карпов тащили в окоп солдат, пытавшихся выбраться наверх, а сержант Жизенский бомбардировал «противника» рассыпчатыми сырыми кусками глины.

Большинство наступающих, не желая ввязываться в эту возню в передовом окопе, перепрыгивали через него и устремлялись в глубину обороны за «танками», продолжая неумолчно кричать ура.

Еще гремели далекие отзвуки «боя», ревели, сливаясь в общий монотонный гул, «танки», когда наше подразделение, покинув траншеи, расположилось на опушке соснового леса.

Походная кухня источала аппетитный запах горячей пищи, а белесый дымок из трубы, поднявшись до половины сосновых стволов, стлался тонкой пеленой, которую пробивали и дробили мелкие капли затяжного дождя.

Солдаты, не обращая внимания на дождь, раздевались по пояс и умывались холодной водой из ручья. Некоторые из солдат чистили оружие, другие оттирали глину с шинелей и гимнастерок.

Выбрав место посуше, мы разбили палатку под старой сосной и разложили костер, в котором долго трещали и дымили сосновые сучья. Старший лейтенант Блашенко был вызван к командиру подразделения.

Только я разложил бритвенный прибор, как возвратился командир роты и сообщил, что мой взвод должен пообедать раньше всех и отправляться с саперами вперед для ремонта небольшого моста.

— А разве маршрут другой? — спросил я.

— Да, идем на демаркационную линию. Подробности потом, а сейчас готовь взвод, — строго сказал Блашенко. — Оружие оставьте здесь. Инструмент захватят для вас саперы. Они скоро подойдут сюда. Мост надо отремонтировать так, чтобы не только нам по нему переправиться, но чтоб и немцам навек хватило. Начальником всей команды пойдет капитан Горобский.

Подошли саперы, и мы двинулись в путь. Следом за нами ехала повозка, набитая до краев инженерным имуществом. Горобский, хотя и прихрамывал, но был оживлен и деятелен, как обычно.

Отряд двинулся.

— А может, и не заменять моего второго номера, товарищ лейтенант? — вдруг опросил Таранчик, шедший в первом ряду колонны.

— Прекратить разговоры в строю! — прикрикнул Горобский.

— Да мне б только узнать, и вправду разлучат нас с

Соловушкой, чи нет, — вполголоса продолжал Таранчик. — Жалко мне его.

— Можно и оставить, — сказал я, — если перестанешь дурачиться.

Таранчик, по-видимому, был доволен ответом и уже не возобновлял разговора.

Все время я наблюдал за ним, за его отношением к Соловьеву. Было ясно, что шутки Таранчика беззлобны и сыпались они на Соловьева лишь потому, что тот был самым близким и безответным человеком.

Танкисты расположились у самого подножия холма.

Около одной из машин, справа от дороги, собралась группа танкистов. На башне танка сидел сержант и лихо растягивал мехи красивого аккордеона. В кругу танкистов кто-то бойко отплясывал трепака, стремительно разбрасывая сапогами мягкую землю и хвою. Горобский так и подергивался в такт музыке, притопывая левой ногой. Плясун, видимо, выдохся и, топнув около кого-то, вышел из круга.

— Балигуру на круг, Балигуру!

— Правильно! Ему командир благодарность объявил.

— Правильно! Давай, Семен, покажи, как в Белоруссии пляшут! На радостях легко пляшется…

Лицо Горобского вдруг исказилось от боли и потемнело. Он сильно согнулся, схватился за колено и, прыгая на правой ноге, выскочил из строя.

— Вот черт, думал, что заживает, а она опять за свое… Грошев, ведите колонну. Я дождусь повозку.

Горобский передал мне планшет с картой маршрута.

В круг вышел старшина, среднего роста, коренастый, лет двадцати пяти.

Он сделал знак музыканту, и тот быстро перебросил пальцы, выполняя заказ танцора. Балигура степенно прошелся по кругу, на ходу подобрал черные волосы под шлем и, словно нехотя, присел раз, другой…

Мы уже прошли этот веселый круг, когда до слуха донесся грудной голос кого-то из зрителей и дружные хлопки в ладоши в такт музыке.

Гоп, куме, не журися,
Туды, сюды повернися…

— Эх, расходится! — не выдержал кто-то из наших солдат, когда колонна отошла от веселого круга танкистов.

С вершины холма открывался вид на небольшую зеленую

долину. Над ней клубился пар, он закрывал верхушки сосен на склоне другого холма, через который лежал наш путь.

В лощине встретилась развилка дорог. Я открыл планшет с картой Горобского, чтобы сверить маршрут. Красная линия на карте, обозначавшая наш путь, змейкой тянулась через горы, извивалась вокруг горных вершин и, выбежав из сплошных лесов, круто поворачивала на север. Конец ее упирался в демаркационную линию как раз в том месте, где снова начинался лес.

Часам к пяти мы были у цели. Здесь выяснилось, что основа моста цела и довольно прочна, чтобы выдержать нашу технику. Нам только надо было положить настил, материала было достаточно.

У высокого штабеля заготовленного леса застучали топоры, завизжали пилы. Мост восстанавливался очень быстро. Когда оставалось совсем немного до окончания работ, капитан Горобский, подозвав меня, сказал:

— Нужно отправить связного к командиру с донесением об исправности моста. Вот донесение… Я пойду к лесорубам.

— Фролов, ко мне! — окликнул я особенно уставшего солдата.

Выслушав задание, он принял донесение и неуверенно пошел к лошадям. Однако по мере приближения к ним шаги его замедлялись. Не дойдя до ближнего коня, остановился.

— Товарищ лейтенант, а они н-не того… не лягаются?

— А уж это вы у них спросите.

— Товарищ лейтенант, разрешите мне, — вмешался Карпов, — его не то что конь — курица залягает. Это же скульптор!

— Да, если можно, — просительным тоном говорил Фролов, возвращаясь к нам, — лучше я буду носить бревна, только бы не эта прогулка верхом.

— А вы что, действительно скульптор?

— Нет, он шутит, — застенчиво сказал Фролов. — Я только готовился стать скульптором… А на лошадях мне никогда не приходилось ездить.

— Карпов, берите донесение и быстро — в дорогу.

Этот энергичный парень вызывал к себе уважение тем, что умел делать все необходимое в солдатской жизни. В сырую полночь на привале никто не догадается раньше него разжечь костер. Надо ли сплести мат, или ушить гимнастерку, или старшине потребовалось сделать лишнюю полку в каптерке — всегда звали Карпова, и он выполнял все, как знакомое дело.

Не успели мы с Фроловым дойти до места рубки леса, а

Карпов уже мелькнул между сосен на вершине холма, прильнув грудью к рыжей гриве коня.

Весь настил на мосту был уже уложен и сооружались перила. Забив последний костыль, Таранчик вышел на середину моста и, почесывая затылок, с усмешкой произнес:

— Эх, а красной ленты не захватили, чтоб натянуть ее для открытия моста.

— Сойдет и без ленты, — ответил ему Земельный, — лишь бы никто из-за твоей работы не провалился.

— Э-ге, хлопче, когда б ты видал тот костыль, что я сейчас вбил, то такой бы глупой мысли в тебе не было. А теперь, хлопцы, пока наши сюда дотопают, мы еще успеем «прижать Михея».

«Прижать Михея» на языке Таранчика означало: поспать.

Отдыхать солдаты разместились на мосту: здесь было суше, чем на траве или на земле. Все дружно закурили, притихли. Каждый ушел в свои думы. Умытый лес стоял тихо и торжественно. Тучи разошлись, но и солнце зашло за горизонт. В мокрой одежде становилось довольно свежо. Под нами, глубоко в ущелье, слышалось однообразное журчание ручья.

— А что, хлопцы, — вдруг громко сказал Таранчик. Он сидел на перилах моста, держа «козью ножку», рассчитанную по меньшей мере на полчаса. — А что, хлопцы, когда бы хоть с полземли… да нет, лучше уж со всей земли взять бы да собрать всех людей, великих и малых, мужского и женского пола, да все б то — в одну купу? — Таранчик умолк, сосредоточенно потянул из «ножки» дым и состроил глуповато-серьезную мину.

— Тогда б что? — в тон спросил Колесник.

Таранчик задумчиво глянул куда-то в верхушки сосен и продолжал:

— А получилась бы велика-превелика людина. — Он сделал значительную паузу. Все молчали. — Да собрать бы все горы и горки, велики и малы — да в одну купу…

— Тогда б что? — вторил Колесник.

— Тогда б получился великий-превеликий бугор. Вот что! Да собрать бы все реки и речки, моря и океаны, озера и ручьи — да в одну купу…

— Ну?

— Вот и «ну». Получилась бы велика-превелика лужа! — Он поскреб в затылке и продолжал без тени улыбки. — А еще, хлопцы, собрать бы все леса и лесочки, все дерева, велики и малы — да в одну купу…

— Ну?

— Что «ну»? Получилась бы велика-превелика палка! Во!

— Да зачем тебе собирать все это?

— А вот зачем. Послать бы ту велику людину да на тот великий бугор, да дать бы той людине в руки ту велику палку. Ка-ак бы размахнулась та велика людина да ка-ак гекнула бы по той великой луже!

— Тогда что?

Тут Таранчик откинул голову назад, закатил глаза и закончил:

— Эх, бы и… б-булькнуло!!

Над ущельем покатился дружный солдатский смех, а рассказчик, сидя на перилах, спокойно пускал колечки дыма в вечернюю синеву.

— Так это он все собирал… с целого света… чтоб… один раз добре булькнуло! — еле выговорил от смеха Митя Колесник, ухватившись за живот.

И уж не слышно журчания ручья, не видно грусти на лицах, даже холод забыт. Как немного, оказывается, иногда надо, чтобы поднять настроение! А ведь и рассказана-то была глупость. «Вот вам и шут, товарищ старший лейтенант», — мысленно говорил я Блашенко.

— Ну, а теперь хоть убейте — ничего не расскажу больше, — заявил Таранчик и уткнулся в воротник шинели, показывая, что хочет задремать. Но все знали, что он не дал бы загрустить, не замолчал бы, если бы не заслышал приближения роты.

Уже в густых сумерках, благополучно переправившись по мосту, устремились в горы.

## 7

Горная дорога узкой лентой тянется по подъемам и спускам, огибает ущелья и скалы. Лес будто сжимает дорогу с обеих сторон. Звезды видны, как из глубокой траншеи. Где-то в верхушках сосен едва слышится шорох. Однообразное шарканье множества подошв по асфальту, молчание и темнота наводят дремоту.

Колонна долго ползет по бесконечному спуску. И вдруг лесная стена обрывается, становится светлее. Впереди равнина и мерцающие в предутренней мгле огни небольшого города.

Улицы еще пустынны. Часть подразделения отрывается от общей колонны и идет к железнодорожной станции. Остальная часть втягивается в огромный двор двухэтажного дома. Мы уже знаем: здесь остановится командир подразделения. Роты пойдут дальше, на демаркационную линию.

Во дворе и в доме все суетятся, куда-то торопятся. Офицеры

бегают по пустым еще комнатам, о чем-то договариваются, спорят. Во дворе то и дело слышатся команды.

Постепенно все определяется по своим местам, утихает. Взводы начали разъезжаться по назначенным квартирам, во дворе стало свободнее.

Командиры рот были собраны для получения задания. Мы долго ждали их возвращения, но они не возвращались.

Солдаты перебрались в большой сад, раскинувшийся за железной оградой, и там, составив «ружья в козлы», расположились, как дома. Сначала слышались шутки и оживленные беседы, затем все замолчали. Солдаты дремали под деревьями старого сада.

Я лежал с солдатами взвода, терпеливо дожидаясь решения командования, и старался ни о чем не думать. Редкие листья высокой старой яблони давали плохую тень. Все настолько разомлели, что никому не хотелось говорить. Даже Таранчик, всегда неутомимый и бодрый, молча лежал на помятой траве.

— Что, братцы, загораем? — громко спросил неизвестно откуда взявшийся Горобский. Он присел возле нас на корточки и, закурив сигарету, бросил на траву открытый портсигар. К нему потянулось несколько рук.

— Ты шел бы ко мне на новоселье, пока ваш Блашенко там спорит, — продолжал Горобский, обращаясь ко мне. — Мы, брат, с начфином устроились получше, чем на старом месте. Там казарма была, а здесь настоящая человеческая комната с прелестной хозяйкой.

— Скоро с в о е новоселье будет, — сказал я, — некогда разгуливать.

— Э-э, да разве вашего Блашенко дождешься! Раз уж его не удалось уговорить до обеда, теперь он до вечера не замолчит.

— А о чем он, собственно, спорит? — спросил Мартов, подползая к нашему кружку.

— В отпуск просится, хоть ты ему ухо режь!

— Так что ж, из-за его отпуска мы и сидим здесь столько времени?

— Нет, зачем же. Но он-то уж очень настойчив. Я предлагал ему даже ехать вместо меня, да батя не соглашается. Говорит, что мне через неделю можно ехать.

— А вы что, не очень торопитесь домой? — спросил я, не поняв, в шутку он предлагал Блашенко отпуск вместо себя или всерьез.

— Да ведь мне и ехать-то почти не к кому, — произнес Горобский упавшим голосом, — некуда…

Говорить после этого было не о чем. Сколько было таких,

которым не к кому ехать в отпуск.

— И все же поеду! — выдохнул Горобский. — Россия велика, — и, бросив окурок, оживился. — А вы заходите, если еще долго не уйдете. Вон, смотрите, отсюда видно. Второй от угла розовый домик с маленьким садиком, видите? Вот тут моя квартира.

Он встал и так же быстро ушел, как и появился. Все были заняты мыслями о том, куда нас направят. Коробов долго сидел над картой, гадал о своем будущем местопребывании, но, не придя ни к какому решению, свернул планшет, положил его под голову и уснул.

Хотелось подробнее представить новую службу. Но как представишь то, чего никогда не видел? За прожитый в Германии год мы немцев видели только на расстоянии. Общаться с ними не приходилось. Располагались обычно в военных городках и жили своей обособленной жизнью. Теперь мы окажемся в непосредственной близости к гражданскому населению. На линии придется иметь дело только с немцами. Но ведь для этого необходимо знать язык.

Расспрашиваю солдат и тут же узнаю, что почти не владеют немецким языком только Таранчик, Соловьев и Карпов. Остальные — кто лучше, кто хуже — говорят по-немецки. Карпов уверял, что он с помощью товарищей скоро сможет овладеть хотя бы самыми необходимыми оборотами речи. А Таранчик сказал:

— Зачем ломать язык, когда я с любым немцем и так договорюсь; для чего ж пальцы?

Коробов громко храпел, повернув к солнцу потное лицо. Рядом сладко посапывал Мартов. Блашенко все не возвращался.

В глубине сада виднелся старый флигель, покрытый до карниза плющом. На открытой площадке в тени флигеля играли дети. Недалеко от нас между деревьями резвилась девочка лет восьми, с русыми кудряшками, в коротеньком светлом сарафанчике. Девочка начала взбираться на кривую старую яблоню, напевая какую-то веселую песенку без слов. Добравшись до первого сучка, она, опираясь ногой на тонкий сучок, потянулась к недозревшему яблоку.

Отросток хрустнул и отломился; девочка повисла на сучке, вцепившись в него руками, не решаясь спрыгнуть на землю. Она готова была заплакать или закричать, но не делала этого, видимо, стесняясь чужих людей.

К ней подбежал Земельный и, ловко подхватив ее, понес на высоко поднятых руках. Потом он опустил девочку очень низко над землей, снова подбросил высоко вверх и начал подбрасывать, приговаривая:

— Что, проказница, лезть так не боялась, а прыгать струсила! А? — Земельный продолжал подбрасывать девочку все выше и выше. Она визжала и смеялась, что-то лепеча Земельному.

— Ах ты, коза востроглазая! На руках, так и страх пропал! — сказал он по-русски. Но девочке понятен был смысл этих слов, как и тех, которые сказаны были раньше на немецком языке.

К Земельному подбежал мальчик лет пяти-шести, дернул его за брюки и строго сказал:

— Отпусти: это моя сестра!

Земельный, словно опомнившись, глянул на мальчика, но девочку все еще держал на руках.

— Чего ты бормочешь? — по-русски спросил Земельный, склонившись к мальчику.

— Отпусти: это моя сестра, — повторил мальчик, выговаривая слово «Schwester» со свистом.

— Э-э, нет, — уже по-немецки ответил Земельный, — эта девочка моя, Наташка! Правда, Наташка?

Девочка засмеялась. А мальчик упрямо тащил его за брюки и капризно тянул:

— Отпустите ее, отпустите… Вон бабушка идет, она вам задаст.

— Отпусти ты ее, пока греха не нажил, — вмешался Жизенский. — Вон бабка ихняя идет, еще шуму наделает.

— А что, по-твоему, и уважить ребенка нельзя, — сердито возразил Земельный. — Если б я им платил тем же, чем они мне, тогда — другое дело.

Из глубины сада от флигеля тащилась седая старуха с провалившимся ртом и с клюшкой в руках. Земельный, вздохнув, подчеркнуто осторожно опустил девочку на землю и, погладив по головке загрубелой рукой, проговорил:

— Дите безвинное, неразумное, не знает ишшо злости на людей.

Мне показалось, что в глазах у него блеснула слеза, но он закашлялся и отвернулся. Девочка и мальчик взялись за руки и бегом пустились к бабушке. Та сердито схватила девочку за плечо, подтолкнула вперед и, что-то ворча, пошла за ними.

— Р-рота, строиться! — вдруг раздался резкий голос Блашенко.

Солдаты вскакивали со своих мест, быстро разбирали оружие и становились в строй. Старшина помогал ездовым запрягать лошадей в повозки: он знал, что гнев Блашенко ищет сейчас предмета, на который бы можно было обрушиться. И гнев этот не замедлил прорваться. Как только рота была выстроена, Блашенко крикнул старшине:

— Долго вы там намерены копаться со своим обозом?

— Сейчас, товарищ старший лейтенант, будет готово, — ответил старшина, подталкивая лошадь к дышлу предпоследней повозки и бросая свирепые взгляды на нерасторопных ездовых. Но Блашенко не терпел уже никаких «сейчас». Он выровнял строй, командирам взводов приказал стать в голову колонны и скомандовал «шагом марш».

— Товарищ старший лейтенант, ведь они могут отстать, — вступился за ездовых Мартов.

— Вот новости, чтобы еще на конях от пехоты отставали!

— Да они же не знают маршрута! Вот мы сейчас завернем за один угол, потом — за другой. Куда же им ехать?

— Идите к ним нянькой, товарищ лейтенант! Выходить из города будем левее станции! Понятно? — сердито спросил Блашенко.

— Слушаюсь! — козырнул Мартов и помчался назад, придерживая левой рукой планшет.

— На дворе уже вечер, а нам еще идти целых полсотни верст, — будто оправдываясь, произнес Блашенко, а сам ускорил шаг.

— Но ведь не старшина же в этом виноват, товарищ старший лейтенант, и не ездовые виноваты, что вас в отпуск посылают, а вы не хотите, — уколол его Коробов. — Чего же тут сердиться?

— Не тот сердит, кто кричит, да быстро отходит, а тот, кто молчит, да долго зло помнит… Вон Грошев на меня сердится: ишь, как надулся. А все молчит.

Я промолчал.

— А откуда известно, что мне отпуска не дают? — уже мягче спросил Блашенко, обращаясь к Коробову.

— О-о, сорока на хвосте принесла. Вон их там сколько летало, сорок-то!

— Он спал все время, — вставил я, — это ему во сне приснилось.

— Во сне или наяву, черт побери, а правда. Я ему говорю: мне отпуск нужен; заявление у них с самого конца войны лежит, а он мне график под нос сует. Ну, скажи на милость, чем выслужился этот Горобский? Орденов много? Служил в разведке? Ему — пожалуйста, а тут, хоть лопни, — не дают!

— Так он же вам предлагал вместо себя ехать, как мне сорока доложила. Чего ж вы не согласились?

— Предлагал! Черти б ему так предлагали. Говорит, а сам смеется.

— Нет, а у нас он что-то не смеялся, когда говорил об этом, — сказал я. — Говорит, ехать не к кому: все погибли.

— Может, и вправду с ним самим договориться? — мечтательно произнес Блашенко.

— Подумайте: он говорил серьезно, — сказал я.

— А ну его к лешему, с его благородством, — вдруг решил Блашенко. — Дождусь этого проклятого графика: не так уж долго теперь. Дней двадцать, ну — месяц… Ведь там у меня сыну четвертый год пошел! — Блашенко достал из планшета фотографию, с которой смотрело веселое лицо мальчика. Он смешно прищурил глаза и приподнял верхнюю пухлую губу, показывая ровные белые зубенки. — Человек родился, вырос, в эвакуации был, а я его еще и не видел. Вот дела!

Коробов взял у него фотографию. Нас догнал Мартов и громко доложил:

— Товарищ старший лейтенант, повозки следуют за колонной!

— Становись в строй.

— Сын-то на отца не похож, — снова уколол Коробов, продолжая рассматривать фотографию, — курносый. Как его звать-то?

— Толькой звать. Давай сюда фото. — Блашенко аккуратно завернул фотографию в пергамент, положил в планшет, а оттуда достал карту. — Я вот что думаю: привал делать еще рано, а пока я вам объясню обстановку… В общем, проведем совещание на ходу.

Мы раскрыли планшеты, достали карандаши и приготовились слушать.

— Придется нам расставаться, друзья. Вот этот участок линии отдается под охрану нашему батальону. Нашей роте приказано нести службу на флангах батальонного участка. — Блашенко подложил развернутый планшет под карту и продолжал: — Крайним левым будет Коробов. Вот его застава. Соседом справа у него будет Мартов. Мы будем стоять против американской зоны оккупации, а Грошеву придется идти на правый фланг батальона, там уже начинается английская зона. Ваша застава, Грошев, находится в Блюменберге. Штаб батальона расположится вот здесь в Вайсберге. Я буду находиться до отпуска с Мартовым. Об особенностях охраны каждого участка сообщат нам те, кого будем сменять. Инструкции по остальной службе получим потом от комбата. Всё. Вопросы?

— А ну, прикиньте, далеко мы с Мишей разойдемся? — спросил Коробов.

Блашенко посмотрел на карту.

— По дороге километров двадцать пять будет, а по линии, конечно, меньше.

— А как питаться будем? Полковой столовой нет, батальонная кухня далеко, — допрашивал Коробов.

— Кухонное хозяйство найдете на месте, а поваров придется поискать среди солдат.

Все замолчали, потом Мартов сказал:

— Сейчас всего не предусмотришь. На месте больше вопросов появится, а спрашивать не у кого будет.

— Как это не у кого, а телефон зачем? — возразил Коробов.

— Телефон есть телефон, — заметил Блашенко, — а решать многое придется самостоятельно: по телефону комбат не увидит у вас всего.

…Солнце село. Жара схлынула. Идти стало легче, и мы решили не делать привала до развилки дорог, где моему взводу надлежало свернуть направо и пройти еще километров восемь до места.

Шел двенадцатый час ночи, когда мы остановились на привале. Взводу Мартова предстояло сделать еще километров пятнадцать. Коробов же рассчитывал попасть на свою заставу только к утру.

Рота сошла с дороги и расположилась на отдых. Солдаты, развязав вещевые мешки, «расправлялись» с консервами и сухарями.

И странное дело. О роте нельзя было сказать, что жила она очень дружно. Но теперь, когда ей пришлось разделиться, может быть, даже не надолго, на привале не было обычного оживления. Солдаты моего взвода растворились в двух других взводах и тихонько беседовали. Мы лежали на жесткой, выжженной солнцем траве за кюветом дороги. Мартов наказывал мне:

— Ты почаще звони нам, а в выходной приезжай. Мы с Ильей рядом будем, нам веселее.

— Вот какая дьявольщина, — заговорил молчавший до сих пор Коробов. — Ну, вы с Леней, допустим, заправские друзья. У вас мнения во всем сходятся, вы всегда вместе… Ясно, что вам не хочется расходиться. Но ведь я, почитай, слова доброго с тобой не говорил: все шутки да колкости, да и пришел ты к нам давно ли. А вот лежу теперь, и тоска какая-то наваливается, будто теряю что…

— Ну, расчувствовались, — перебил его Блашенко, одиноко сидевший в стороне, — барышни. Будто навек расстаются. Строиться! — скомандовал он и, резко поднявшись, пошел на дорогу.

Я выстроил свой взвод на повороте, ведущем в Блюменберг, и подал команду «шагом марш». Оставшаяся часть роты провожала нас взглядами. Блашенко, помахав рукой, крикнул:

— Счастливого пути!

Мы сразу взяли хороший темп и менее чем через полтора часа наша маленькая колонна остановилась перед аркой заставы в Блюменберге.

Застава находилась на юго-восточном склоне огромного пологого холма, по вершине которого проходила демаркационная линия. А ниже, у самого подножия холма, вдоль маленькой речки раскинулась деревня.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## 1

Дом, в котором расположилась застава, оказался просторным. Солдатская спальня, столовая и кухня поместились в нижнем этаже. Кроме того, здесь нашлась маленькая комната для связиста и побольше — для оружия. Ленинская комната и мое жилье — наверху.

А вот с досугом… В полку мы регулярно посещали кино, самодеятельные концерты, иногда приезжали артисты. Здесь не только не было всего этого, не было даже выходных дней. Увольнениями не очень баловали и в полку, но иногда солдаты ходили в город, знакомились с его достопримечательностями. Здесь некуда было ходить, ибо в деревне имелось только две «достопримечательности»: маслозавод и мельница.

В этих условиях одними уставными требованиями не обойдешься. Служба на линии будет настоящей проверкой сознательности и выдержки каждого солдата.

Со двора в распахнутое окно донеслись слова Таранчика:

— Сюда, сюда, голубчики! Вот та-ак. Смотри, Митя, они меня и по-русски понимают.

Он конвоировал троих мужчин, задержанных на линии. На посту у заставы стоял Митя Колесник. Он показал, куда следует направиться прибывшим.

Я пошел вниз разбираться с задержанными. Это были пожилые шахтеры из-под Нордхаузена. Документы у всех оказались исправными. Шли они в Западную Германию к родственникам, которых не видели несколько лет. У них даже имелось официальное разрешение на проезд туда и обратно. Однако на вопрос, почему они не воспользовались данным разрешением и не поехали через специальные таможенные пункты, худой немец в плаще и шляпе, отирая пот, ответил:

— Там очень далеко, господин лейтенант: потребуется много денег и времени. Придется исколесить пол-Германии.

— Но ведь вы знаете, что здесь нельзя переходить линию?

— Знаем, — с улыбкой подтвердил коренастый шахтер в синей рубашке с подвернутыми рукавами. Пиджак висел у него на руке. — Думали, удастся проскочить. Завтра утром мы бы уже пили кофе у своих родственников.

— Вперед умнее будете, — сказал третий, комкая в руках старенькую фуражку и обращаясь к коренастому. — Говорил вам,

что сразу ехать надо, — не согласились. Теперь еще больше времени потеряем. Тебе все скорей надо…

Этот маленький, небрежно одетый человек, молчавший до сих пор, сердито начал корить своих спутников, не обращая внимания на их возражения, и замолчал только после того, как они были отпущены.

Я хотел вернуться к себе, но со двора позвал Колесник:

— Товарищ лейтенант, дедушка пришел.

«Дедушкой» мы называли Карла Редера, бургомистра села Блюменберг. Это был суетливый тощий старик с отвисающей складкой кожи у подбородка. Одевался он бедно, но всегда опрятно.

С Редером у нас установились довольно дружеские отношения с первого дня. Он был очень услужлив, не лишен чувства юмора, и это помогало ему быстро сблизиться с любым человеком.

Когда мы только пришли в Блюменберг, дел было, хоть отбавляй: принимать линию, устраивать людей, налаживать связь, оборудовать кухню, словом, всего не перечтешь. А как только связисты установили телефон, старший адъютант потребовал план расположения постов, интенданты — точные сведения о количестве людей, числящихся на довольствии, и т. п.

Вот в это-то трудное время к нам явился Карл Редер и предложил свои услуги. Помощь его оказалась очень кстати. Он разыскал и привел двух плотников и столяра, которые помогли соорудить стеллаж для пулеметов, кое-что сделали в столовой, кухне и складе для хранения продуктов.

Шел уже шестой час вечера, а мы еще не обедали.

Суп, правда, уже варился, но второе и третье не в чем было готовить. Карл Редер заметил мое замешательство и, прищурив глаз (что, как я узнал после, было признаком его самодовольства), спросил, в чем мы еще нуждаемся. Я с жаром начал объяснять ему, что нам нужны два бачка для приготовления пищи, что лучше всего найти бы их сегодня же. Подавая ему деньги для приобретения бачков, я как-то незаметно для себя назвал его товарищем. Старик сорвал шляпу, взъерошил на затылке седые волосы, страшно округлил глаза и прошипел:

— То-ва-рищ?! Какой я вам товарищ, господин лейтенант? Я — г о с п о д и н Редер, бургомистр этой деревни! Я еще не коммунист, чтобы называть меня товарищем!

Обескураженный, я стал перед ним искренне извиняться и объяснять, что это случилось непроизвольно, что я просто устал и заговорился. Редер слушал подчеркнуто серьезно. Когда у меня кончился весь запас красноречия, и я выжидательно уставился на

собеседника, желая узнать, простил ли он меня, старик прыснул, потом до слез расхохотался, приговаривая сквозь смех:

— Вот это я вас пробрал! Вот пробрал!

Я не знал, что ему ответить и как вести себя. Редер взял у меня деньги, положил мне на плечо сухощавую руку и задушевно сказал:

— Господин лейтенант, сын вы мой! Не сердитесь на старика Редера за эту глупую шутку. Зовите меня господином, товарищем, или просто Редером, или даже стариком — как вам угодно — мне совершенно все равно. Господин я невелик, а товарищем еще, пожалуй, могу быть.

С тех пор я звал его «товарищ Редер», и слово «господин» употреблял только тогда, когда хотел подзудить старика. Солдаты звали его дедушкой.

— Добрый день, господин лейтенант, — сняв выгоревшую, когда-то зеленую шляпу и сверкнув лысиной, поклонился Редер. Он тепло пожал мне руку и продолжал: — Видите ли, я не хотел вас беспокоить, но… Идемте со мной, и я все изложу.

Дорогой он рассказал, что в пивной давно уже сидит какой-то человек, который сильно захмелел. Этот человек оказался русским, его пытались привести в «божеский» вид, но безуспешно.

Рассказав о цели своего прихода, Редер свернул домой.

В пивной, кроме одного человека, сидящего к дверям спиной, никого не было. Навалившись на стол, он, видимо, спал. На нем был светло-серый костюм, а на спинке соседнего стула — серый макинтош и серая шляпа. Подойдя ближе, я узнал Горобского.

— Уж не в отпуске ли? — проговорил я, тронув его за плечо. Он резко вскинул голову, и мутные глаза в несколько секунд приобрели разумное выражение.

— О, милейший! — воскликнул Горобский. — Вы здесь! Хозяин, пива!

— Да уж, кажется, довольно, товарищ капитан…

За стойкой появился хозяин, но наливать не собирался.

— Пива, старый дьявол! — на немецком языке закричал Горобский, скрипнув зубами.

— Вы мне должны еще за две разбитые кружки, не считая выпитого, — ответил хозяин, подставив кружку под кран.

— Хватит, товарищ капитан, рассчитывайтесь и идемте отдыхать.

— Ты… Ты — лейтенант и еще указывать капитану?! Да как ты…

— В таком случае придется позвать солдат и доставить вас в полк, — сказал я, направляясь к дверям.

— Подождите, Копейкин!.. Виноват, Грошев, подождите!

Сейчас вместе пойдем.

Я остановился, а Горобский прошел к стойке, бросил хозяину горсть марок и с двумя кружками вернулся к столу. Хозяин, получив, очевидно, больше, чем полагалось, ухмыльнулся и заявил о своей готовности наливать, сколько потребуется.

— Присядьте, милейший, присядьте.

Когда я вернулся и сел, Горобский, подавая кружку, сказал:

— Пейте, лейтенант, и слушайте…

— Слушать можно, но пить — нет!

— Понятно. Разве порядочный человек станет пить с такой дрянью, как я. — Слово «порядочный» прозвучало ядовито. Он выпил свою кружку до дна. — Вы ведь — маменькин сынок. Папаша, конечно, есть, сестреночки, братишечки, дядюшки, тетушки, кумушки. Да?

— Допустим…

— Хе-хе! Допустим! Ему можно допускать: в Сибири и на Урале деревни целехоньки, а мне… Да понимаешь ли ты, лейтенант, что у меня нет н и к о г о на свете! — Он заскрежетал зубами и, горестно промолвив: — Бобыль! — безвольно опустил голову.

— Надеюсь, сюда вы пришли не к кумушке и не к тетушке?

— Ах, вон вы о чем! — Горобский вскинул голову и, захватив рукой растрепавшиеся волосы, в упор посмотрел на меня. Глаза увлажнились, лицо побледнело, но заговорил тихо, примиряющим тоном. — Это у вас здесь ни выходных, ни праздников нет, а в полку все соблюдается. Снял я свою робу, оделся по-человечески, да и пошел посмотреть, как люди живут… А они живут. У них семьи, домишки, деточки — все на месте! Засмотрелся на них и забыл, куда иду и за чем иду. Вот как бывает, лейтенант. Может, выпьешь теперь за бобыля, потешишь его душу своим сочувствием?

— Не стоит, товарищ капитан. Вы что же, от отпуска совсем отказались?

— О, нет! Пока уступил очередь начфину и теперь вовсе один остался на квартире, но скоро поеду. Россия велика. Пропуск вот-вот должен прийти. Второй день в отпуске. Вот и гуляю.

Казалось, последняя кружка подействовала на него отрезвляюще.

В пивную вошел Пельцман, владелец мельницы. Полный невысокий человек с короткими усиками под толстым носом, с галстуком-бабочкой на белой рубашке и в шляпе с узенькими полями. Он попросил кружку пива и, торопясь, пил ее прямо у стойки, отирая пот огромным платком.

— Присаживайтесь, — пригласил его хозяин, — куда это вы

так спешите?

— В Нордхаузен, — словно из бочки пробубнил Пельцман, — там совещание мелких промышленников.

— Господин Пельцман, возьмите попутчика, — попросил я.

— Мне все равно, господин комендант, — так он назвал меня. — Еду один в целом лимузине. Но ждать некогда: опаздываю, — быстро говорил Пельцман, одной рукой подавая деньги, другой — размахивая платком.

— Вам повезло, — сказал я Горобскому.

— Да, мне везет, — ответил он, вздохнув.

Горобский надел шляпу, взял на руку макинтош и пошел впереди Пельцмана. Хозяин пивной любезно раскланялся и вышел из-за стойки, чтобы закрыть за нами дверь. У дверей Горобский пропустил вперед Пельцмана, дождался меня.

— Шкура, — по-русски сказал он, не глядя на хозяина. — Трясется за кружку: ему дела нет, что у человека жизнь разбита, была бы цела его кружка.

Усевшись в старенький лимузин рядом с Пельцманом, он тепло попрощался со мной и сказал, что если долго не придет пропуск, то он обязательно приедет в гости.

— Некуда девать себя. Понимаешь?

Весь вечер меня мучила мысль о Горобском и еще больше терзали сомнения. Докладывать или не докладывать бате? Два голоса, перебивая друг друга, яростно спорили. Один настойчиво твердил: «Он ведь был в гражданском костюме, значит, не опозорил мундира советского офицера». — «Ах, какой умник! — укорял второй голос. — Спрятался за гражданский костюм. А душа его где?! Снимай трубку и звони в полк».

«…Бобыль… маменькин сынок… жизнь разбита вдребезги… Некуда девать себя…», — проносилось в голове. — «Звони же, звони! — издевался второй голос. — Звони, если ты действительно маменькин сынок, если тебе, как и хозяину разбитой кружки, дела нет до судьбы такого же офицера, как ты… Может быть, именно сынок этого хозяйчика сделал Горобского бобылем, а ты за кружку… Нет!» — решил я и несколько успокоился.

## *2*

Тому, кто с детства успел полюбить дикую красоту тайги, дебри нетронутых лесов, искусственно посаженный хвойный лес покажется слишком однообразным, скучным. Именно такие леса встречались нам в районе Бранденбурга и Стендаля. Там в лесу

неестественно чисто и голо: ни травы, ни чащи не встретишь.

В Тюрингии радуют глаз пейзажи, очень напоминающие наши уральские. Может быть, тем и привлекательна она для русского человека, что в этой части Германии природа меньше всего подчинена строгому немецкому порядку: линия — угол, угол — линия.

Скалистые склоны гор сплошь покрыты лесами. Настоящими дикими лесами! Вот стоит зеленая горная сосна. Кажется, такая же, как наша, да нет, ощетинилась, чужая. Глаз ищет среди зелени белый ствол родной березки, но нет, не встретить здесь его. Не довелось мне увидеть березки во всей Германии.

Стоял один из тех воскресных дней, когда захватив с собой праздничный обед, жители деревень отправляются в горы, в лес отдыхать. Туда едут на машинах, на мотоциклах, на велосипедах, на лошадях, запряженных в самые разнообразные повозки. А то идут пешком с сумками в руках.

Я ехал из штаба батальона. До заставы в Блюменберге оставалось километров десять. Дорога шла по лощине. Здесь парило, как в котле. Полуденная жара разморила меня. Повесив поводья на луку седла, я расстегнул верхние пуговицы гимнастерки и смотрел вдаль, на лесистую вершину сопки, затянутую синей дымкой. Орел, гнедой и белоногий, то и дело взмахивал головой, дергал поводья и мерно цокал подковами по старому асфальту.

Вдруг далеко впереди, справа от дороги, раздался выстрел. Орел вскинул голову и запрядал ушами. Я стал смотреть в ту сторону. Из леса бежал человек, за ним метрах в двухстах гнались несколько человек и что-то кричали.

Не задумываясь, я свернул с дороги и пустил коня галопом. Ветер засвистел в ушах. Преследуемый, заметив меня, повернул правее, к лесу, и прибавил скорость. До него оставалось метров двадцать пять — тридцать. Я расслышал, что люди, догонявшие его, захлебываясь, кричали:

— Держите его! Держите! Стреляйте в него!

Вдруг беглец остановился, повернулся ко мне и вскинул пистолет. Я тоже рванул пистолет из кобуры, но грянул выстрел — и Орел со всего маху опрокинулся, а я оказался на земле.

Беглец побежал к лесу. Подбегая к Орлу, я почувствовал, что каждый шаг отдается резкой болью в пояснице. Конь с трудом поднялся и тревожно заржал.

Поправив седло, я сел на Орла, но после первых же шагов убедился, что погоня невозможна: конь еле передвигался. Трое из преследовавших с полицейским впереди бросились в лес. Двое

отставших, видимо, окончательно выбились из сил и еле брели. А беглец в это время скрылся уже из виду. Я слез с коня, чтобы осмотреть рану. Подошел первый из отставших.

— За кем вы гнались? — спросил я.

Плотный блондин лет сорока пяти с выражением полной безнадежности махнул рукой и, не ответив мне, спросил:

— Конь ранен?

На лысеющей голове незнакомца каплями выступил пот. Человек тяжело дышал. Я между тем продолжал осмотр и, подняв за щетку переднюю ногу, увидел разрыв между копытом и щеткой. Рана сильно кровоточила. Однако спереди нога не имела никаких признаков повреждения.

— Так кто же этот беглец?

— Густав Карц. О-о, это очень плохой человек! — ответил, подходя, другой немец, пожилой человек с болезненным лицом; опустившись на пашню, он долго кашлял. А блондин пошел по моему следу назад, внимательно рассматривая что-то на земле.

— Этот человек, — задыхаясь, говорил немец болезненного вида, — только что убил свою любовницу и собственного сына… за то, что подкараулил их вместе…

— Сюда! Идите сюда! — позвал блондин. — Вот причина ранения, — и приподнял с земли звено колючей проволоки, натянутой между тонкими металлическими кольями.

Когда на парах вырастает трава, крестьяне огораживают свои участки и пускают в них скот. Теперь пар был вспахан, а изгородь свалена и, лежа на земле, почти не отличалась от нее.

— Не беспокойтесь: рана не опасна, — сказал блондин. — Только надо промыть ее. Вон там, внизу, есть ручей.

Я знал этот ручей и намеревался завернуть к нему.

— Идем, Эрнст, — обратился блондин к другому немцу. — Все равно Густав нам отдых испортил.

— Да, Отто, идем, — отозвался тот, поднимаясь. — Видно, плохие мы рысаки, чтобы догонять Густава. Да и у вас, господин лейтенант, — пошутил он, — рысак тоже теперь не для погони. Лазарет — его место.

Они пошли обратно, а я, взявшись за повод, направился к ручью. Сзади, подпрыгивая, ковылял Орел.

Здесь я очистил и промыл рану Орлу, перетянул ее носовым платком.

Когда я вышел на дорогу, показалась легковая машина. Она проскочила мимо, круто развернулась и, поравнявшись со мной, затормозила. Из машины вышел человек в синей блузе, который назвал себя Отто Шнайдером. За ним показался мальчик лет пятнадцати.

— Это мой сын Ганс, — сказал Отто. — Если разрешите, он уведет коня к вам домой. А вас я довезу на машине. Вы ведь из Блюменберга? — любезно спросил Шнайдер.

Я с благодарностью принял предложение. Мальчик взял повод и, намотав его на кулак, приготовился идти.

— А ты ездить верхом умеешь? — спросил я его.

— Да.

— Так и поезжай: для коня ты не так уж тяжел.

— Зачем мучить лошадь, — вмешался отец, — здесь недалеко, добежит, ноги у него молодые.

— А ты, Ганс, все-таки садись.

Мальчик, косо поглядывая на отца, ухватился за луку и, подпрыгнув, взлетел в седло.

— В Блюменберге спросишь, где находится застава, и тебе всякий покажет.

— Я сам знаю, — ответил Ганс, гордо повернувшись в седле и тронув каблуками коня. Конь хромал, стремена болтались, но это не мешало всаднику пребывать на седьмом небе.

— Этот мальчишка будто не свою голову носит на плечах, поэтому и не бережет ее.

— Не беспокойтесь: конь очень смирный.

— Я не об этом. Вообще парень держит себя смелее, чем подобает в его возрасте, — не без гордости сообщил отец.

По дороге Шнайдер рассказал, что живет он в деревне Грюневальд, через которую мы должны ехать, что имеет небольшую автомастерскую, что во время войны ему пришлось побывать под Курском, что много принял мук и был тяжело ранен дважды.

Я спросил Отто, почему он так благожелательно относится к офицеру Советской Армии, той армии, с которой ему пришлось сражаться и получить ранения.

— О-о! — ответил он, усмехнувшись и покрутив пальцем правой руки у виска, держа баранку левой. — Пора и нам понять кое-что. От этой войны я ничего не имею, кроме ранений. Хорошо еще, что голова уцелела…

— А если бы вы победили? — перебил я его.

— Все равно выиграли бы только миллионеры. Наша кровь — их деньги… Вот это мой дом, — спохватился Отто, когда мы проезжали по деревне, и указал влево на небольшой домик с красной черепичной крышей, с садиком и примостившейся рядом мастерской. — Заезжайте в гости, буду рад. Я вижу: вы здесь часто проезжаете.

— Да вы почти капиталист, — пошутил я.

— От меня до капиталиста ровно столько же, сколько от

земли до неба. У меня никогда не было наемных рабочих и лишних денег, зато у меня есть руки. — Отто показал рабочие руки слесаря, на секунду отпустив баранку.

— А что этот Густав Карц очень богат?

— О, совсем нет. За времена Гитлера он привык жить легко, за чужой счет. Он так избаловался, что и теперь не хочет работать. Давно бросил семью, живет по вдовушкам, а жена с детьми бедствует. Мне думается, он давно решил убежать на ту сторону и бездельничать там в фашистских притонах.

— Но почему же он так жестоко обошелся со своими жертвами?

— Это же его специальность! Такие люди ценились в гитлеровской армии. Он не привык сдерживать свои страсти, тем более, что, видимо, готовился бежать в Западную Германию. Если ему это удастся, то все обойдется безнаказанно. Только на это он и мог рассчитывать.

— А если не уйдет?

— Будут судить и, наверное, расстреляют.

Меня удивил спокойный и уверенный тон, которым Отто повествовал о Густаве Карце. Очевидно, он так хорошо знал Густава, что даже последние действия Карца не очень удивили Шнайдера. Впереди показалась деревня, и скоро Отто подвез меня к заставе. Прощаясь, Отто еще раз пригласил заезжать к нему.

Встретив во дворе Чумакова, я коротко рассказал ему о случившемся и передал сумку с газетами и письмами, которые попутно захватил из штаба батальона.

Чумаков, сдержанный и скромный до застенчивости человек, не стал расспрашивать о подробностях, принял сумку и начал выбирать из нее содержимое.

Увидев почту в руках Чумакова, Таранчик и Карпов бросились к нему из сада. Тот выбрал из пачки писем свое, остальные отдал Таранчику, чтобы раздать адресатам.

Кажется, что приятного может быть в раздаче писем, если письма, адресованного тебе, может и не быть в этой пачке? Но еще с войны каждый в солдатской семье стремился к раздаче писем.

На заставе обычно делалось так. Удачник захватывал все письма на взвод или на роту или, вернее, на всех знакомых. Его окружали и слушали фамилии счастливцев, которым есть письма. Но раздатчик, прежде чем отдать письмо, непременно требовал от адресата «выкуп»: спеть или сплясать.

Я давно требовал бросить этот способ раздачи писем, но он так прочно укоренился, что всякий раз при получении почты все повторялось снова.

Когда я поднялся к себе в комнату и открыл окно, во дворе уже собрались все солдаты, свободные от службы. Таранчик, взгромоздившись на пустой бочонок в углу двора, раздавал не только письма, но и «задания». Он хорошо знал способности солдат и уже не заставлял плясать того, кто мог петь или декламировать.

Путан, этот коренастый увалень, по приказанию Таранчика, покорно пошел в ленинскую комнату за аккордеоном. Он не обладал никаким искусством, кроме поварского. Загар уже сошел с его полного лица, оно сделалось белым и залоснилось, как у заправского повара.

Митя Колесник притащил из сада шланг и поливал во дворе площадку, брызгая холодной водой на солдат. Он пользовался всеобщим уважением и любовью за расторопность и добрый нрав. Митя был все такой же худенький, но лицо посвежело и возмужало. Гимнастерка с помощью Карпова была подогнана так, что теперь уже не висела на нем, и он выглядел настоящим солдатом.

В руках Жизенского по велению Таранчика запел аккордеон. Русые волнистые волосы выбивались у Жизенского из-под пилотки. Тщательно заправленная гимнастерка и всегда свежий подворотничок придавали ему вид довольно аккуратный, даже щегольский, и многие девушки засматривались на него.

— Плясовую давай! Плясовую! — крикнул Таранчик. — А уже какую из плясовых — закажет Карпов. — Он плутовски скосил глаза в сторону Карпова и потряс в воздухе последним письмом.

Карпов мог плясать прекрасно, но не хотел это делать по заказу и заупрямился. Солдаты подталкивали его в образовавшийся круг, а Жизенский подзадоривал всех бойкой плясовой. Таранчик сидел на бочонке, скрестив на груди руки, и терпеливо ждал. Карпов нехотя вошел в круг. Его невысокая фигура с широкими плечами и тонкой, туго перехваченной ремнем талией скорее напоминала горца, чем природного сибиряка.

Он притопнул раз, другой, хлопнул в ладоши, широко развел руки и пошел по кругу вприсядку. Смотрел он прямо впереди себя и, казалось, не видел окружающих, смотрел мимо них или сквозь них.

Сидя на бочке, Таранчик ударял по ней задником ботинка, хлопал в ладоши и приговаривал:

— Хе-хе! Пляшет ведь, хлопцы! А как пляшет, вы только посмотрите! Когда б не я, не видать бы вам этой пляски.

Зайдя в дом, я наложил себе на место ушиба компресс и прилег на кушетку, стараясь задремать. Пришел Чумаков и

сказал, что мальчик привел Орла. Мы спустились во двор. Ганс победно улыбался нам навстречу, Стремена уже не болтались, как раньше; Ганс подтянул их высоко и теперь очень удобно сидел в седле. Мы начали осматривать коня, а мальчика я послал умываться…

Когда после обработки и перевязки раны я завел Орла в стойло, то увидел там Карпова. Он сидел в углу на опрокинутом старом ведре, спрятав голову в ладони.

Привязав коня, я спросил у Карпова, что случилось. Вместо ответа он подал мне распечатанный конверт. В письме сообщалось о смерти его матери.

Я вышел из конюшни и позвал Таранчика. Он бойко рапортовал:

— Ефрейтор Таранчик прибыл по вашему приказанию!

— Вас предупреждали о том, чтобы вы прекратили такую раздачу писем?

— Так точно, товарищ лейтенант!

— А вы?..

— Никак нет…

— В следующий раз буду за это наказывать вплоть до ареста. А пока — один наряд вне очереди!

— Слушаюсь! — гаркнул в ответ Таранчик, словно ему объявили благодарность.

## *3*

Тихие летние вечера солдаты, свободные от службы, проводили в саду, в беседке или просто на траве. Они рассказывали случаи из жизни на родине, из фронтовой жизни и о страшных годах, проведенных в концентрационных лагерях в Германии.

Яблони и черешни стояли неподвижно, как застывшие. Трава, измученная дневным зноем, теперь бойко расправила свои перья, распространяя приятный аромат.

Земельный лежал на спине, подложил руки под голову и молча слушал рассказ Фролова.

— А знаете, друзья, — говорил Фролов, — я когда был студентом, представлял себе гитлеровцев какими-то очень уж страшными… даже мне сейчас и не сказать, какими я их представлял. А вот теперь живу здесь, в самой Германии, и не вижу таких немцев, какие мне представлялись. Как это?

— А ты и не бачил настоящего немца-фашиста, — возразил Митя Колесник.

— Но мы же их видим каждый день десятками и сотнями. Ведь это те же немцы…

— Те, да не те, — не сдавался Митя. — Поглядел бы ты на них в сорок третьем, а еще лучше в сорок втором, узнал бы, что оно за немцы. Они б тебе показались еще и не такими, какими ты их представлял. Мне подвезло: я мало в лагере был. Приехал бауэр со своей фрау, забрал нас, вот таких хлопчиков, как я, троих. Сам он мало дома был: все куда-то ездил. А фрау его целыми днями нам подзатыльники отвешивала. Другой раз со счету собьешься, сколько за день получишь. Спать не давала и кормить забывала. Одних бураков, наверно, целую гору на тачке перевозили. Свиней накорми, у коров убери, воды наноси, бураки запарь, силосу привези — и все на себе. А лошадь стоит на конюшне, как та свинья ожирела. Ух, если бы та фрау мне сейчас попалась!

— А что б ты сделал? — спокойно спросил Фролов.

Митя смутился и покраснел. В самом деле, что бы он с ней сделал?

— Да ну ее к шуту! — нашелся Митя. — Мы и так у них перед концом всех свиней поразогнали и сами разбежались.

Солдаты, не испытавшие немецкой неволи, начали разговор о трудной и опасной фронтовой жизни.

— Э-э, нет, хлопцы, — ожил Земельный, повернувшись на живот и опершись на локти, — то велики трудности, спору нет. Но на фронте у тебя есть оружие: ты всегда можешь мстить врагу за его зверства. А уж коли умирать придется, то и умереть там легче, бо знаешь, за что. Знаешь, что погиб за Родину. Так и родным напишут. А вот умирать в лагере куда трудней. Никто и не узнает, где ты сгинул. В лагере нет у тебя ни имени, ни звания человеческого — ОСТ на груди и номер четырехзначный, — так и по книгам числишься…

— А тоже — народ культурный. Они и лупцовку устраивали культурную. Над цементированной канавой перекинут мостиков штук пятьдесят, а возле каждого мостика — моторчик с плетками. Вот так утром вызовут номера, разложат по мостикам и моторы включают разом. К-культурно — и всех разом. А кровь по канаве бежит. Вот сволочи! Он тебя мордует, как хочет, а ты ему и в глаза плюнуть не можешь: пристрелит на месте, как собаку.

— Обидная смерть, — вздохнул Карпов.

— То так, — согласился Земельный, — но и жизнь там была не легче смерти.

— Тише! — крикнул Фролов.

Земельный умолк, не докончив рассказа. Все услышали из репродуктора задушевную трогательную песню. Пели ее хорошо

знакомые нам голоса Бунчикова и Нечаева. Она сразу захватила солдатские сердца, натосковавшиеся по дому.

Давно мы дома не были,
Цветет родная ель,
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель.

— Эх, песня! — громко сказал Таранчик. Он стоял на посту у подъезда. Задрав голову, он смотрел на репродуктор, словно надеялся увидеть там исполнителей.

Где елки осыпаются,
Где елочки стоят,
Который год красавицы
Гуляют без ребят.

— Вот пе-есня! — снова не выдержал Таранчик.

— Замолчи ты, бревно: на посту стоишь, — шикнул на него Карпов через калитку сада.

Лети, мечта солдатская,
Напомни обо мне!
Лети, мечта солдатская,
К девчине самой ласковой,
Что помнит обо мне!

Песня умолкла, а солдаты все еще лежали притихшие, завороженные.

Из репродуктора неслись мощные звуки новой песни. Но она не трогала солдатских сердец, а только мешала удерживать в памяти только что пропетую, полюбившуюся…

— Ну, Максим, рассказывай дальше, — прервал молчание Журавлев, обращаясь к Земельному.

Маленькая головка Журавлева, узкие плечи, настороженный взгляд чем-то напоминали суслика. Журавлев очень любил слушать рассказы бывалых солдат.

— Да что рассказывать, — отвечал Земельный, — после такой песни и говорить не хочется: за душу берет.

— Ну, песня песней, а о лагерной жизни интересно и нам знать.

— Обидная эта жизнь для человека, хлопцы. Измывается над

тобой гад, в тебе все кипит, а поделать ничего не можешь… Не забуду до смерти и внукам рассказывать буду, если заимею их, что такое фашизм.

Как-то под осень сорок четвертого года стали мы примечать, что дела на фронте у них стали плохи, они и вовсе ожесточились. И вот вызвали нас — десятка два номеров, выстроили. Эсэсовский унтер так и приплясывает перед нами, как зверь в ярости. Плетку каждому под нос сует. «Что, — говорит, — русские свиньи, по Москве соскучились? Я вам сейчас покажу Москву — долго не забудете. А ну, скидайте штаны!» Раздели нас донага, все стоим синие: утро холодное было. А без одежды мы и вовсе друг другу страшными показались — кожа да кости. Весь этот голый строй повел унтер к круглому бассейну и загнал в него. На дне воды сантиметров на тридцать. Вода ледяная, а дно у бассейна корявое. Посадил он нас на дно плотно друг за другом по кругу возле стены бассейна и говорит: «Сейчас в гости в Москву поедете». Спокойно так говорит. Велел взять друг друга за локти, да чтоб свистели и пыхтели, как паровоз, и передвигались по кругу.

Ох, хлопцы, знали б вы, как впивается в тощую кожу цемент! Так и рвет, как рашпилем, аж в мозгах отдается, а кровь от холодной воды стынет… Я после того месяца два не мог сидеть. Штаны в том месте все время промокали и засыхали так, что аж ломались… Вот на такого бы гада тебе посмотреть, Фролов, ты бы узнал и то, чего никогда не снилось…

Этот страшный рассказ взбудоражил солдат. Они начали спорить. Одни доказывали, что лучше смерть, чем такое унижение; другие утверждали, что безрассудная смерть никому не нужна, если этой смертью ничего не достигается, что это только на руку фашистам, что Земельный тогда не дожил бы до Дня победы и не был бы с нами.

Не знаю, чем кончился спор, так как меня окликнул Таранчик, сообщив, что с линии привели задержанного. Когда я вышел из сада, Соловьев, конвоируя задержанного, подходил к подъезду дома.

Меня поразило сходство задержанного с тем человеком, который стрелял в меня несколько часов назад. Те же кривые ноги, тяжелый торс и бычий взгляд. Несомненно, это был Густав Карц. Он был без головного убора, жесткие темные волосы торчали в разные стороны. Увидев меня, он впился недоумевающим, несколько испуганным взглядом и замедлил шаг, так что Соловьев, зазевавшись, почти наткнулся на него.

Поравнявшись с Таранчиком, пленник ударом расшиб ему лицо и, резким движением опрокинув маленького Соловьева,

пустился наутек. Таранчик, быстро придя в себя, вскинул автомат, но я успел остановить его. Они с Соловьевым бросились в погоню. Я тоже пытался бежать, но после первых же шагов убедился, что не в состоянии этого сделать.

Густав Карц, выскочив со двора, свернул в поле и бежал к линии. Таранчик отмеривал саженные шаги во всю длину своих ног, но расстояние между ним и Карцем сокращалось медленно. Соловьев отстал. Беглец оглядывался на погоню через правое плечо, поэтому не видел, что сзади несколько слева бежали солдаты, перескочившие через задний забор сада. Кто-то из них крикнул, и это ускорило развязку.

Карц, оглянувшись налево, повернулся к бегущим и направил пистолет в сторону безоружной погони, впереди которой бежал Земельный. Раздался выстрел, но никто не убавил шага. Карц судорожно рвал кожух пистолета, — выстрела не получалось. Тяжелый парабеллум полетел навстречу подбегающему Таранчику. Тот успел закрыться автоматом и со всей яростью бросился на Карца. Подоспевший Земельный заломил руку бандита и посадил его на землю.

Все это произошло так быстро, что не только я, но даже приотставшие солдаты не успели добежать до места свалки.

— Ишь, осел, еще после войны покушается на единственную жизнь ефрейтора Таранчика, — сказал он, подходя ко мне с задержанным. Кровь на ссадине смешалась с грязью, но Таранчик победно улыбался.

— Какой же это осел? Это — матерый волк, — возразил я. — Соловьев, почему перебежчик не был разоружен сразу при задержании?

— Так мы и не подумали… Он даже не пытался бежать или сопротивляться. Такой робкий был…

Соловьев, конечно, понимал свою ошибку, но служба на линии была для нас новым делом, а ошибки во всяком новом деле неизбежны. Бдительность солдат особенно усыплялась тем, что абсолютное большинство задержанных не только не имело оружия, но даже перочинных ножей или лезвий для безопасной бритвы. Это были мирные люди. Такой случай был первым и многому нас научил.

Когда Густава Карца привели в комнату, он тяжело опустился на стул и, не дожидаясь вопросов, заявил:

— Можете расстреливать сразу: я отказываюсь отвечать на ваши вопросы.

Но это не был мужественный вызов. Карц походил на побитого пса, который рычит от страха. Карц хорошо помнил законы военного времени, знал, чем платили гитлеровцы

советским людям за малейшее непослушание.

— Откуда вы взяли, что вас собираются расстреливать?

— Такова воля победителя.

— Здесь порядки совсем не те, что были у вас в фашистской армии. Ни расстреливать, ни даже допрашивать я вас не собираюсь. Мне только непонятно, куда вы девали патроны.

— Какие патроны? — удивился Карц.

— Пистолетные.

Он недоуменно передернул плечами, вывернув нижнюю губу.

— Вы не понимаете вопроса? Хорошо, я задам его иначе, понятнее. Один патрон из вашего пистолета израсходован только что на солдата, другой — на меня, третий — на вашего собственного сына и на вашу любовницу. Так?

Лицо Густава прояснилось. Он согласился со мной.

— Там, кажется, на двоих хватило одного патрона?

— Да.

— Где же остальные патроны из обоймы?

— А их и не было, господин лейтенант, — оживился Карц. В его глазах мелькнула какая-то надежда. — Этот пистолет давно у меня валялся, и в нем было только три патрона.

Этому нельзя было поверить: не из-за трех патронов хранил он оружие, подвергая себя опасности, ибо был строжайший приказ о сдаче всех видов оружия. Однако я согласился с ним, чтобы продолжить разговор.

— А почему вы избрали именно этот участок для перехода через линию? В районе Грюневальда ближе и удобнее: лес, а здесь открытое место.

— Я считал, что погоня будет именно в том направлении. — Карц несколько успокоился и, навалившись на спинку стула, повеселевшим голосом продолжал: — Не мог же я думать, что судьба сведет меня с вами в один день два раза! О, если бы знал, что встречусь с вами сегодня еще раз, то обошел бы это место за сто километров.

— Ну, а если бы я не знал вас?

— Тогда я мог бы сойти за самого обычного немца, какие переходят линию десятками.

Расчет бандита был прост и верен.

Отчего же Густав Карц успокоился, когда речь зашла о самом тяжелом его преступлении: убийстве двух человек? Было видно, что он особенно тщательно скрывает количество патронов. За этим, должно быть, скрывалось другое преступление.

Поздно вечером я отправился к бургомистру и от него позвонил по телефону в Грюневальд. Полицейский обещал завтра же увезти Густава Карца для дальнейшего следствия.

## 4

Дни летели за днями в напряженной будничной жизни. Орел все еще болел. Рана затянулась скоро, однако как только он резко наступал на поврежденную ногу, корка на больном месте лопалась, и рана кровоточила.

На линию проверить посты я отправился пешком. За аркой меня окликнул Карпов, стоявший на посту у подъезда.

— Возьмите вот это, товарищ лейтенант! — Он успел взять плащ-палатку и бежал с ней ко мне. — Возьмите: дождь будет.

— Откуда тебе это известно?

— Возьмите, не пожалеете!

Он кинул мне плащ в руки и бегом вернулся на пост. Мне ничего не оставалось делать, как перекинуть навязанную вещь через руку и двигаться дальше. Этот сибиряк хорошо знал природу, внимательно наблюдал за ней и, кажется, даже вел дневник погоды.

Действительно, парило сильно; ласточки проносились над самой землей; воздух был недвижим, дышать было нечем. С юго-запада из-за горизонта выплывали белые барашки облаков, не предвещавшие никакого дождя.

Избушка, которую мы называли караульным помещением, стояла у самой линии, справа от дороги. Но это не было обычное караульное помещение, это скорее был пересыльный пункт для задержанных. До избушки оставалось еще с километр, то есть половина пути, когда подул легкий ветерок. Он пробирался в рукава и за ворот гимнастерки, приятно охлаждая тело.

Вдруг набежала тень. Я обернулся к солнцу — на него наползала огромная черная туча с фиолетовыми краями. Не успел я пройти и полкилометра, как рванул буревой ветер, полетели редкие, очень крупные капли дождя. Они громко щелкали по асфальту, образуя темные пятна величиною почти с пятак. Дождь быстро усиливался, сделалось темно, начался ливень. Накинув плащ-палатку, я поспешил под ветхую крышу избушки.

В ней было двое: Жизенский и Митя Колесник. Они сидели за столиком, наблюдая за линией через окно. Жизенский, как всегда, аккуратно одетый, доложил, что дела идут хорошо, задержанных пока нет и на постах все благополучно.

По окнам хлестал дождь, скатываясь сплошным потоком со стекол. Избушка то и дело вздрагивала от мощных ударов грома и поминутно освещалась ярким синеватым огнем молний. В углу, у двери, появилась течь. Но скоро дождь резко начал спадать, громовые удары слышались все дальше и дальше, становилось светлее.

— А у нас тут собачки стали появляться, — словно невзначай обронил Митя Колесник.

— Что за собачки? — насторожился я.

— Одну мы видели с Журавлевым, когда я тут на посту стоял. Ту мы и во внимание не взяли. Бежит овчарка, ну и хай себе бежит, думаем. А сегодня рано опять в том же месте проскочила. И такая же точно! Овчарка.

— В какую сторону бежали?

— Туда, на ту сторону.

— Надо попытаться задержать, если еще появится такая собачка, — посоветовал я.

Стало совсем светло, выглянуло солнце, но над нами еще висел край тучи, и падали последние капли дождя, редкие и крупные, как перед началом грозы. Трава под окном избушки живо расправилась, сверкая на солнце прозрачными изумрудными каплями.

На улице было свежо, дул слабый ветерок, в выбоинах на дороге стояли лужи, отражая куски голубого неба.

— А вон она, товарищ лейтенант! — вдруг крикнул Жизенский, поправляя выбившиеся волосы и указывая в противоположную от линии сторону.

Огромными прыжками к линии бежала большая овчарка.

— Жалко, — сказал я, — хорошая собака…

— А я хлеба принесу, — подхватил Митя и бросился в избушку.

— Не надо! — крикнул Жизенский. — Какой дурак пустит собаку, чтобы она за каждым куском кидалась.

Собака быстро приближалась к линии. В это время с английской стороны из деревни Либедорф выскочили два легких танка. Они мчались к линии. Команда держала люки открытыми. Надо сказать, что англичане не имели на линии постоянных постов, а время от времени проезжали вдоль нее на легких танках, видимо, демонстрируя свою мощь.

Не доехав до линии, англичане круто свернули вправо от дороги и теперь неслись по засеянному полю, взрывая гусеницами целую тучу комьев мокрой земли и уничтожая посев. По этой же дороге к нам приближался легковой военный автомобиль, рассекая лужи на асфальте.

Митя все-таки вынес хлеб и бросил недалеко от себя, пытаясь окриком обратить на него внимание собаки. Но она, словно не видя нас, бежала в строго определенном направлении. Жизенский припал на колено и ловил эту стремительную цель на автоматную мушку.

Собака была уже возле самой линии. Послышалась короткая

очередь — собака сделала огромный прыжок, проскочила между колючей проволокой линии, словно запнувшись, вытянулась во всю длину и затихла на земле, откинув голову.

Мы были еще далеко не опытными пограничниками, да и охраняли мы не границу, а демаркационную линию, на которой многое допускается из того, что запрещено на государственной границе.

Но мы хорошо знали и всегда строго выдерживали одно правило. Если приходится стрелять, то стрелять лишь с тем расчетом, чтобы ни одна пуля не легла на противоположной стороне.

Жизенский стрелял вдоль линии, и пули ложились на нашей стороне, но пораженная собака оказалась за линией. Мы стояли, соображая, как достать оттуда собаку, а тут еще подскочила к самой проволоке эта английская машина.

Из нее вышел щупленький, небольшого роста капитан английской армии. Маленькие очки в серебряной оправе и невоенная осанка придавали ему вид гражданского человека. Он улыбнулся нам и после обоюдного приветствия жестами, сказал что-то на английском языке. Я ответил ему на немецком языке, что не знаю английского.

— Очень хорошо, — тоже по-немецки сказал капитан. — Добрый день… Вам нужна эта собака?

— Да, нужна.

Трудно было поверить глазам. Капитан без единого слова полез в грязь за убитой собакой, не щадя своих желтых блестящих ботинок. Он безо всякой брезгливости ухватил ее за хвост, выволок на дорогу и просунул под проволоку.

Мы были изумлены до крайности. Капитан же осторожно перелез через проволоку и подал мне руку:

— Будем знакомы, — сказал он. — Меня зовут Чарльз Верн.

Я ответил рукопожатием и сказал, что меня зовут Михаилом.

На вид ему было лет сорок. Остренький носик на бледном лице все время как-то по-смешному дергался, от этого сползали очки, и он поправлял их ежеминутно. Русые усики были аккуратно подстрижены. Он не выпускал моей руки из своих рук, словно извиняясь, говорил:

— Вот сбылась моя мечта — встретиться с советским офицером и пожать ему руку. — Глаза его горели от возбуждения, он переступал с ноги на ногу и, казалось, хотел сказать еще что-то, очень важное.

— А раньше разве не было такой возможности?

— К сожалению, господин лейтенант, или как это у вас? М… м… не было, — ответил он и, заслышав гул танков, пошел к

проволоке. Оказавшись по ту сторону линии и глядя на приближавшиеся танки, он зло говорил:

— Что делают, подлецы! Что делают! Сколько хлеба попортили. Ведь можно же было ехать по старому следу, так нет — они топчут новые участки хлеба.

— А кто же позволяет им это делать, господин капитан?

— О, дорогой мой, в том-то и дело: кто позволяет! Я начальник штаба здешней батареи, а только смотрю на это и развожу руками.

Танки приближались.

— Господин лейтенант, — словно опомнившись, продолжал он, — смогу ли я приехать к вам когда-нибудь в другое, более удобное время.

Трудно было сразу ответить на такой вопрос. В спешке я ничего не понял, не успел разобраться в намерениях этого господина.

— Пожалуйста, приезжайте, — ответил я, чувствуя, что молчать дальше уже неудобно.

Чарльз Верн вскочил в машину, круто развернул ее на шоссе и, поднимая радужные столбы брызг, помчался к Либедорфу.

Жизенский и Колесник осматривали собаку, оттащив ее к избушке. Когда я подошел к ним, они читали записку, извлеченную из потайного карманчика на ошейнике.

— Гляньте, товарищ лейтенант, как наш сержант стрельнул, — сказал Митя, указывая на рану в передней лопатке собаки. — Прямо ворошиловский стрелок!

Записка была совершенно безобидная. И если бы кто-нибудь из нас нашел ее на дороге и прочел, то, несомненно, бросил бы, не обратив на нее ни малейшего внимания.

> «Милый дядюшка, — говорилось в ней, — спасибо Вам за совет. Я устроился на работу. Об этом я уже сообщал. Ева тоже работает успешно. В следующий выходной она собирается к Вам в гости. Когда же мне придется побывать у Вас, — не знаю.
>
> О наших общих знакомых ничего не могу сообщить, потому что никого из них давно не видел. Ева слышала, что Ганс скоропостижно умер, а добрый дядюшка Карл очень болеет и, кажется, безнадежен. А без него развалится вся его семья, потому что дети непослушны и все время ссорятся между собой. Хоть бы вы приехали и помирили их.
>
> *С приветом Макс».*

— Собаку закопайте, а если еще появится — не пропускать! — крикнул я сквозь гул танков, выезжавших на дорогу и направлявшихся в Либедорф.

Из открытых люков были видны вооруженные солдаты. Они победно улыбались, а сержант с переднего танка размахивал в воздухе пистолетом и что-то кричал нам. Потом кричали все, и все размахивали руками, обернувшись в нашу сторону. Танки вышли на дорогу и скоро удалились.

— Сообщите об этом на все посты, а если будет собака с той стороны, постарайтесь проследить ее путь, насколько это будет возможно.

Я пошел было по клеверному полю, стараясь отыскать след собаки, но клевер закрывал следы. Только изредка удавалось найти хорошие оттиски лап и по ним держать направление. Выйдя на широкий проселок, заросший мелкой травой, я совсем сбился со следа.

Потратив минут двадцать на поиски, я убедился в их бесплодности и пошел по проселку к большой дороге. Вполне ясно было лишь одно, что собака была пущена не из Блюменберга, ибо направление показывало много левее крайнего дома деревни.

Шагая по дороге домой, я вспомнил о приезжавшем офицере английской армии. Чего он хотел, этот офицер? Друг он или коварный враг?

К вечеру с северо-востока потянулись лохматые бурые тучи. Прохладный ветер рано загнал всех в дом, а когда ужинали, зашумел частый ровный дождь.

Я лег спать раньше обыкновенного и во втором часу ночи был разбужен сильными ударами грома. Дождь, казалось, сплошным потоком лил на крышу и шумными ручьями падал с нее, шипя и плескаясь где-то внизу. Яркие полосы молний то и дело разрывали темноту, ослепляя глаза. Треск этот был так силен, что звенели стекла в окнах и вздрагивал весь дом.

Любуясь диким разгулом стихии, я выкурил одну за другой две сигареты и снова лег спать. Раскаты грома быстро удалялись, дождь резко спадал…

— Пожар! Пожар, товарищ лейтенант! — кричал в самое ухо Соловьев, толкая в плечо и сдернув с меня одеяло.

Я открыл глаза: в комнате было темно, только свет от лампочки со двора проникал через окно.

— Где?

— А вон, вон, смотрите! Отсюда хорошо видно!

Внизу, в деревне, в том месте, где изгибалась речка и где стояла мельница Пельцмана, раскачивалось пламя, подгоняемое

порывами ветра. Людей не было видно.

— Поднять всех по тревоге!

— Слушаюсь! — шепотом ответил Соловьев и, шлепая босыми ногами, побежал вон.

Я взглянул на часы: без четверти три. В нижнем этаже захлопали двери, забегали люди.

На посту у подъезда стоял Фролов. Это он заметил пожар, разбудил и послал ко мне Соловьева.

Дробный топот сапог огласил пустынную улицу. Солдаты бежали за мной, разбрызгивая лужи. Дождя не было. На небе между разрывами туч кое-где мелькали яркие крупные звезды.

На заставе оставались только Фролов, связист и Чумаков, который, как старший, должен был сообщить на все посты, что своевременной смены не будет.

Около мельницы, когда мы к ней приближались, бестолково суетились несколько человек. Двое метались и кричали около распахнутых дверей, которые были обвиты огненной каймой.

— Он погиб! Теперь он погиб! — охрипшим голосом повторял высокий худой немец с тонким горбатым носом и бледными губами.

— Кто погиб? — быстро спросил Земельный, подбегая к нему.

— Шеф! — выкрикнул немец с выражением надежды в округленных серых глазах. — Мой шеф! Господин Пельцман… — добавил он, безвольно опустив нижнюю губу, и еще более округлил глаза, когда увидел, что Земельный, не дослушав его, устремился прямо к дверному проему, заглядывая в него.

Солдаты побежали вокруг мельницы, не зная, что делать, ибо никакого пожарного инструмента не было. По улице спешили разбуженные жители с ведрами, лопатами, шлангами…

— Склад! — визгливо закричал кто-то. — Хлеб!!

Мельница и склад составляли одно здание, сложенное из камня. Порыв ветра выхватил из фронтона огромный язык пламени, и в ту же минуту подгоревшие стропила затрещали, заскрежетало железо креплений, и половина крыши над мельницей обрушилась. Сверху полетели обломки раскаленного шифера; в небо взвился столб искр и черного дыма; освобожденное пламя закипело с новой силой. По ветру, словно подвешенные на парашютах, плавно полетели яркие угли. Они неслись на юго-запад, в деревню, и оседали там между домами.

Некоторые из бегущих, очевидно, жители ближних домов, заметив эти искры, поворачивали назад. Старичок, трусивший впереди с коротким ломом в руках, с ужасом взглянув на искры, запрокинул голову и в этом положении остановился, решая, видимо, бежать ли вперед или вернуться назад.

Таранчик в два прыжка подскочив к нему, выдернул лом и быстро вернулся с ним, набросившись на замок склада. Старичок, словно обрадовавшись тому, что его освободили от тяжелой ноши, круто развернулся и с удивительной легкостью и проворством пустился назад.

Таранчик, вложив короткий лом в серьгу замка, пытался взломать его, но замок и петли были слишком крепки. Откуда-то вывернулся Земельный с огромной кувалдой. Он молча раздвинул толпившихся у дверей склада и, размахнувшись, ударил по замку. Сверкнули искры — замок слетел. Все, у кого не было пожарного инструмента, бросились в склад и стали выносить мешки с зерном и мукой.

Соловьев, заскочив на штабель мешков, сбросил оттуда брезент, старый комбинезон, несколько пустых мешков и скатился по штабелю, разобранному сверху. Все это поспешно схватил Земельный, и они побежали к речке.

Земельный, Соловьев и Карпов, завернувшись в мешки, что достал Соловьев, бросились в речку, затем побежали на мельницу. Пожилой мужчина, протянув шланг от водопровода из соседнего сада, упорно боролся с пламенем у входа в здание. Карпов взял у него шланг и передал Соловьеву, шагавшему сзади.

Соловьев сразу направил струю на спины товарищей.

Спрашивая разрешения на эту операцию, Карпов уверял, что на все потребуется не более одной минуты. Но прошла минута, вторая…

Подъехал Редер с двумя старенькими пожарными машинами и сокрушенно объяснил, что пожарную команду вызвать не удалось, потому что телефонная линия нарушена грозой.

Под ногами путался все тот же сухой высокий немец с безвольно отвисшей губой и округленными глупыми глазами. Он, не переставая, скулил о погибшем шефе, ничего не делая для его спасения.

Машины поставили у реки, и с двух сторон на верх горящей мельницы обрушились мощные струи воды.

Прошло три минуты — из мельницы никто не возвращался. Таранчик вытряхнул из мешка зерно, намочил мешок в подвернувшемся ведре с водой, обвернул голову и потребовал у Жизенского, чтобы он сопровождал его струей из шланга пожарной машины.

В это время в дверях показалась чья-то завернутая в брезент полусогнутая спина с тлеющими пятнами. Это был Земельный. Он тащил вместе с Карповым под руки толстого Пельцмана, а Соловьев поливал их и, насколько было возможно, себя.

Пельцмана подхватили и отнесли на траву, а солдаты снова

бросились в речку и, окунувшись, сбрасывали с себя обгоревшие лохмотья.

Вокруг пострадавшего собрался народ. Ему терли виски, опрыскивали водой, но он не подавал признаков жизни. Таранчик, растолкав всех, с навернутым на голове мокрым мешком, разорвал на пострадавшем рубашку, обнажил ему грудь и встал над ним на колени.

— Доктора! За доктором надо послать! — послышался скорбный голос длинного немца с отвисшей губой (больницы и вообще какого-либо медика в деревне не было).

— Дурак, — спокойно возразил Таранчик на русском языке. — Что он, умирать погодит, что ли, будет ждать твоего доктора? — а сам крепко взялся за запястья толстых рук Пельцмана и стал делать искусственное дыхание. Окружающие безмолвно смотрели на Таранчика.

В это время обрушился потолок над мельницей, и послышалась бойкая команда Редера:

— В окна, в двери давайте! В двери!

Обрушившись, потолок сделал полезное дело, потому что огонь улегся в каменной коробке, а оставшуюся часть крыши над складом беспрестанно поливали водой, так что теперь склад был в безопасности. Все, что можно было вынести из него, было вынесено. Искры теперь уже не летели на деревню, и оставалось заглушить этот бушевавший в каменных стенах огонь.

Усилия Таранчика не пропали даром. Пельцман очнулся и его увезли домой под плач и причитания жены и взрослой дочери.

Сила пожара заметно убывала, к тому же снова начал накрапывать дождь, и опять послышалась команда вездесущего Редера:

— Брезенты давайте сюда! Брезенты!

Мешки с мукой, спасенные от огня, старательно укрыли, чтобы уберечь их от воды.

Пожар был ликвидирован. Теперь заливали тлеющие головешки. Толпы зевак — женщин, подростков и стариков — стали медленно расходиться по-домам.

— Ну, дедушка, пора и нам домой, — сказал я Редеру, собрав вокруг себя солдат.

— Спасибо! Спасибо вам! — растроганно, с дрожью в голосе говорил Редер. — Спасибо, добрые люди! Вы спасли не одного Пельцмана, а всю деревню и от пожара, и от голода… Спасибо, — всхлипнул старик и, словно назойливую муху, смахнув слезу, скатившуюся на нос, вдруг ожесточился и закричал на своих:

— Чего стали! Делать вам нечего?!

В шестом часу утра мокрые, усталые и грязные мы возвращались на заставу.

— На тебя, Таранчик, немцы теперь молиться будут, — пошутил Соловьев.

— Ничего ты не смыслишь, Соловушка, в этих делах, — назидательно сказал Таранчик. — Разве же зазря получил я еще в школе значок БГСО? И не жду, чтобы на меня молились. Что эти люди, глупее тебя, что ли? Уж не молиться, а хоть бы догадались гимнастерку мне да штаны постирать: теперь не домоешься, после этой грязюки…

— А что, Таранчик, — сказал я насмешливо, — достаточно намекнуть дедушке, что вот мы вам пожар потушили, а вы нам за это…

— Что вы, товарищ лейтенант, — смутившись, возразил Таранчик. — Да разве ж какая-то фрау или любая женщина в свете сможет так постирать, как помоет-постирает сам ефрейтор Таранчик! Да никогда в жизни!

На другой день, перед вечером, на заставу пожаловал сам Пельцман. Одет он был по-праздничному, как и тогда, когда ехал на совещание мелких промышленников. Та же визитка, та же «бабочка» под толстым подбородком на безукоризненно белой манишке. Только шел он теперь очень тяжело, опираясь на толстую полированную дубовую палку. Короткие усы опалены. Лицо, неестественно красное, казалось шире его узкополой шляпы. Глаза налиты кровью. На правой щеке, возле уха, — ожог.

День выдался жаркий, и солдаты, не занятые на постах, собирались идти на речку стирать обмундирование.

— Я, господин комендант, хотел бы видеть того солдата, который спас мне жизнь, — сказал Пельцман, отдуваясь и присаживаясь на лавочку у садового забора.

— Вот он, — указал я на Таранчика.

— Не-ет, — возразил Таранчик, понявший, в чем дело. — Вон кто его спас, — указал он на Земельного, Карпова и Соловьева. — Они спасли тело, а я вроде бы душу вставил в вашу милость, господин Пельцман. Только и всего. А во что ж бы я душу вставил, если бы не было такого богатого тела?

— Что, что он говорит? — живо поинтересовался Пельцман. Земельный перевел слова Таранчика, выбросив все, что могло обидеть Пельцмана.

— Извините, — сказал Пельцман, поднимаясь с лавки и доставая из бокового кармана пачку марок, — извините, но больше у меня сейчас нет. — Он подал марки Земельному.

Карпов, увидав деньги, сделал лихой поворот кругом, присвистнул и, чеканя шаг, пошел к арке. Соловьев попятился за

спину Таранчика, а Земельный, держа руки по швам, подался вперед и сверлил взглядом владельца сгоревшей мельницы.

— Я много вам благодарен, большое вам спасибо, но, понимаете, сейчас, сегодня у меня нет больше денег, — оправдывался Пельцман, считая, что Земельный обижен малой суммой.

Земельный отвел от себя руку Пельцмана и, не отрывая от него взгляда, четко выговорил:

— Мы не за деньги вас спасали.

— Да, но… чем же я должен с вами расплатиться? — пролепетал Пельцман, совершенно растерявшись.

— Мы не из тех, кто греет руки возле чужого несчастья! — резко сказал Земельный, повернулся и пошел за Карповым.

Таранчик, заложив руки назад, встал на место Земельного перед Пельцманом и совершенно невинно спросил:

— А сколько стоит ваш живот и вместе с головой?

— Что, что он говорит?

— Он спрашивает, сколько стоит ваша жизнь, — перевел Митя Колесник.

— Моя жизнь? — засмеялся Пельцман. — Моя жизнь… Я не знаю, сколько стоит моя жизнь… потому что меня никогда не продавали, и я никого не покупал, — веселее заговорил Пельцман, догадываясь о шутке. — Возможно, нисколько не стоит, потому что на людей цены нет…

— Ну, а раз нисколько не стоит, — произнес Таранчик, выслушав перевод, — то нечего нам и торговаться. Зря хлопцы перли этот мешок.

Солдаты захохотали, а Таранчик, показав, что он и разговаривать не хочет, махнул рукой и пошел от Пельцмана. Пельцман, смущенно улыбаясь и разведя руки, обратился ко мне, как бы спрашивая: «Что же делать?».

— Поезжайте домой, — сказал я, — отдыхайте спокойно, поправляйтесь. Нам ничего не надо. Единственное, чего бы мы хотели, так это пожелать вам, чтобы и вы всегда помогали людям в беде.

Пельцман поклонился и, опираясь на палку, тяжело пошел к машине, оставленной за аркой.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## 1

Давно перевалило за полдень, но было по-прежнему жарко. Тень от дома закрывала собою большую половину двора. У калитки сада на старой лавочке сидели солдаты. Сегодня они мучились не только от жары. Ни у кого не было табаку. Как всегда, Журавлев оказался бережливее всех. Достаточно было ему тряхнуть кисетом, как с обеих сторон начали раздаваться торопливые заявки.

— А может, и мне какой-нибудь чинарик останется, — послышался откуда-то жалобно просящий голос Таранчика. Уж у него-то давно в карманах и духу табачного не было.

Карпов и Земельный подняли головы вверх, обернувшись туда, откуда слышался голос. Таранчик сидел на самом коньке крыши, копаясь у репродуктора, установленного там.

— Если успеешь слезть, то можно и оставить на затяжку, — ответил Журавлев, перетрясая в кисете табачную пыль.

— Нет, — возразил Таранчик, — такое мне не подойдет.

— Хватит тебе собирать труху, — пробасил Земельный. — Закручивай!

— Х-хе! — во всю ширь своих губ заулыбался Таранчик, быстро взглянув в сторону деревни и торопливо присоединяя провода к репродуктору. — Если я слезу, то вам целую горсть табаку дам! Не нужна мне ваша пыль!

Сидящие внизу думали, что он шутит, ибо хорошо знали, что не только горсти, но даже пылинки табачной у него не найдется. Получив табак, он в первые же дни раздавал его, угощал всех, в том числе и задержанных немцев. Когда же приходил уважаемый нами старик Карл Редер, Таранчик всегда помогал ему скрутить «козью ножку» и просил покурить вместе с ним. Несмотря на то, что Редер совсем не умел говорить по-русски, а Таранчик знал немногие немецкие слова, они хорошо понимали друг друга.

Из-за арки, снизу, показалась повозка, на которой старшина Чумаков возвращался с батальонного пункта снабжения.

— А-а, так вон ты откуда табачок-то учуял! — сказал Карпов.

Как только повозка въехала во двор, ее окружили со всех сторон. Солдаты снимали с нее груз и несли в кладовую. Таранчик, появившийся тут же, толкался возле повозки, но ничего не брал. Увидев угол ящика с махоркой, он выхватил его с самого дна повозки и понес к подъезду.

— Кто курить хочет — за мной!

Повозка опустела, и скоро задымили толстые солдатские самокрутки. Фролов вытащил из сумки у старшины пачку писем и, отыскав свое, хотел раздать остальные, но старшина приказал:

— Отдайте Таранчику, пусть он раздаст.

Тот, деланно вздохнув, покосился на старшину, нехотя принял письма в свои костлявые руки и поспешно начал раздавать их.

— Жизенскому!.. Его нет?

— Чьи письма останутся, положим их на стол в ленинской комнате, и чтобы никто не трогал! — нарочито сурово заявил Таранчик.

— Фролову… Фролов, вам еще одно письмо. Получите, пожалуйста.

— Так-так, Таранчик, — в тон ему заметил Журавлев. — Берись за ум. Видишь, как славно получается!

— Ну да, а то придумали какую-то игру с письмами. Разве это игрушка!.. Вот и вам, товарищ Журавлев, тоже письмецо. Получайте, пожалуйста! — лицо Таранчика расплылось в довольной улыбке. — Кхе-ге! Ефрейтору Таранчику!.. А за свое письмо можно сплясать, товарищ старшина?

— Нехай пляшет, — загудел Земельный.

— Пусть спляшет, — послышалось со всех сторон.

— Конечно, кому же запрещено плясать, если настроение есть, — согласился Чумаков, — но вначале прочитать бы надо.

— Да и так можно! — выкрикнул из-за спины Таранчика Митя Колесник. — Письмо-то от его Дуни!

Солдаты, получившие письма, разбрелись читать, кто куда. Таранчик, не сходя с места, читал свое письмо, и лицо его все больше и больше хмурилось. Журавлев, сидя с аккордеоном на крыльце, начал плясовую. Его толстые пальцы удивительно быстро прыгали по клавишам, а голова смешно покачивалась над мехами. Все громче и задорнее неслась над двором «барыня», а Таранчик стоял, опершись локтем о повозку, склонив голову.

— Таранчик, зря что ли музыка играет, — сказал Митя.

Таранчик зажал письмо в кулаке, потом сунул его в карман, и заплясал. Он выделывал такие «кренделя» в такт музыке, что зрители хватались за бока от смеха. Огромные ботинки поочередно мелькали в воздухе, а костлявые коленки касались подбородка. Пытаясь изобразить то, что на Руси называют «плясать вприсядку», он неуклюже приседал и хлопал ладонями по коленям, потом поднимал руки вверх и хлопал в ладоши, потом такой же хлопок слышался из-под коленей.

— Эх, пляши, Акиша: Дуня замуж вышла! — выкрикивал он

время от времени.

— Неужели, и вправду, — вышла? — спросил Чумаков у стоявшего рядом Колесника.

— Да нет! Брешет он, товарищ старшина. Может, перед Карповым хочет загладить вину…

— Не умно же придумал, — сказал Чумаков и пошел в дом. Он скоро вернулся, неся в руках новые яловые сапоги.

— Перестань дурачиться, Таранчик. Примерь-ка вот лучше обновку.

Таранчик на полусогнутых ногах подкатился к Чумакову и, взяв у него сапоги, сокрушенно сказал:

— Эх, запоздали вы, товарищ старшина. Вот в этих я бы сплясал! — он отошел к повозке, сел на дышло и тут же начал переобуваться.

Во двор быстро въехала легковая машина и резко затормозила. Солдаты дружно приветствовали вышедшего из машины незнакомого майора. Таранчик тоже поднялся с дышла, держа в руке сапог и поджав разутую ногу. Майор опросил, где можно видеть начальника заставы. Я уже спускался по лестнице, чтобы встретить майора, но он, сопровождаемый Чумаковым, стремительно поднимался вверх, перешагивая через две ступеньки. На смуглом, загорелом лице его резко выделялись белки глаз.

В комнате майор предъявил документы и сказал, что является представителем командования группы советских оккупационных войск в Германии.

— Я очень спешу, — сказал он, усаживаясь за стол и развертывая планшет. — До наступления темноты мне необходимо побывать еще на трех заставах… Прошу запастись картой участка и карандашами.

Он развернул на столе большую склеенную карту с жирной красной полосой, обозначающей демаркационную линию. Пока я доставал карту и карандаши, майор начал объяснять:

— Дело в том, что демаркационная линия рассекла немецкую землю без учета интересов немцев. Вот, смотрите сюда… В частности, на вашем участке, — он обвел карандашом на моей карте участки по ту и по другую сторону линии. — Видите? Вот земля немцев, живущих в Блюменберге, оказалась в английской зоне. Наоборот, в нашей зоне лежит земля, принадлежавшая немцам из деревни Либедорф, которая находится в английской зоне. Понимаете, какая чехарда получается?

— Да, понимаю, потому что еще давно ко мне обращался бургомистр с этим же вопросом. Я ничем не мог помочь им, кроме того, что посоветовал обратиться в Берлин.

— Вот-вот… немцы из Западной Германии тоже обратились с такой просьбой. Командующие оккупационными войсками зон сумели договориться…

— Чтобы изменить расположение линии?

— Нет, именно — нет! Линия пока остается на прежнем месте, а людям придется разрешить работать на своей земле.

— Это значит: от них пропускать крестьян к нам, а от нас — к ним?

— Да. Придется ввести пропуска. Это не должно снижать бдительности и не снимает с вас ответственности за охрану линии.

— Но ведь это новшество намного усложнит охрану линии.

— Однако не забывайте, что вы охраняете всего лишь демаркационную линию, а не государственную границу, это, во-первых. Во-вторых, вы хорошо знаете, что интересы простых немцев должны быть удовлетворены. Мы пришли сюда за тем, чтобы освободить простых немцев от остатков фашизма, вот это и надо делать.

— Так ведь простые же немцы засеяли весной землю, хозяева которой остались на той стороне. А там кто-то обрабатывал землю жителей нашей деревни. Люди затратили труд, семена…

— Это уж предоставьте решать самим немцам. Я думаю, они разберутся, кто кому из них должен. Ваше дело — открыть линию для хозяев земли и содействовать тому, чтобы немцы, с той и другой стороны, смогли обоюдно договориться. Как это сделать практически, надо подумать. Вам, видимо, придется связаться с капитаном Чаловым, потому что эта земля, — майор указал на карту, — тянется и на его участке. У Чалова я уже побывал… На все — не более десяти дней. Все ясно?

— Понятно, товарищ майор.

— Действуйте!

Я предлагал ему поужинать, но майор мигом уложил карту в планшет и, пожелав успехов, с такой же быстротой, как и появился, вышел.

## *2*

Пришлось обратиться за помощью к Карлу Редеру.

Он прохаживался по комнате в одном жилете, посасывая маленькую трубочку, из которой несло удушливым смрадом какого-то дрянного табака. Редер уже слышал, как он выразился, краешком уха, разговор о земле и теперь был особенно возбужден. Быстро прохаживаясь по комнате, он поминутно

зачем-то доставал часы из жилетного кармана, совал руки то под жилет, то в карманы брюк и допрашивал:

— Ну, как, господин лейтенант, ожидается что-нибудь?

— Какой у вас дурной табак, товарищ Редер, — проговорил я, словно не замечая его нетерпения.

— Что поделаешь, сын мой! На добрые сигары я не заработал за свою жизнь. — Он вывернул карманы брюк, встряхнул их и, смеясь, заключил: — Пролетарий! Живем мы с бабушкой Гертрудой всю жизнь только вдвоем, так что она привыкла ко всякому, даже самому горькому табаку. Гостей у нас бывает не много.

Взяв поданную мной коробку сигарет, он бросил трубку в пепельницу, вставил сигаретку в желтый, обожженный мундштук и, подогреваемый любопытством, настаивал:

— Ну, сжальтесь, господин лейтенант, скажите, что с нашей землей? Вы же знаете, что мы писали в Берлин, ведь больше половины моей земли на той стороне!

— Все это мне хорошо известно, дорогой дедушка. Но линия остается на месте, а на своей земле вы будете иметь возможность работать, так сказать, за границей.

Я рассказал ему все, что мне было известно, и старый Редер, будто из него выдернули «живую нитку», тяжело опустился в ветхое кресло.

— О-о! Тут будет много шуму. Мы вложили свой труд и семена в чужую землю! Как теперь разделить все это? — старик низко опустил голову.

— Между немцами-то, думаю, как-нибудь еще сможете все утрясти, но с англичанами, как поведете расчеты?

— А что с англичанами?

— Вы видели, сколько они там напахали танками? Там половина посевов на вашей земле загублена!

Редер знал, что англичане протоптали след по хлебам вдоль линии, но что они смешали с грязью еще целую полосу хлеба — услышал впервые. Его и других жителей Блюменберга не так сильно возмущали действия англичан, пока они не узнали, что потоптанные поля принадлежат им, а не только жителям Либедорфа.

Редер снова вскочил и начал быстро ходить по комнате.

— Надо собирать народ, надо обсудить, что теперь делать. Как договориться теперь с бургомистром из Либедорфа?..

Когда я сказал ему о цели своего прихода, он с готовностью предложил свой мотоцикл.

— Пожалуйста, господин лейтенант. Все равно я на нем не езжу. Денег на бензин у меня нет.

Получив на бензин, Карл Редер достал из комода ключ, отдал мне и пошел готовить собрание.

Хоть и не ездил Редер на старом своем мотоцикле, но машину содержал в порядке. Выкатив за ворота «ДКВ», я поехал в штаб батальона, не заезжая на заставу. За деревней в лицо пахнул свежий ветер, машина легко катилась по асфальту, а по обе стороны от дороги замелькали жалкие поля-заплаты.

Через полчаса я был в штабе. Комбат посоветовал связаться с начальником следующего участка, капитаном Чаловым, он уже осведомлен о встрече с англичанами, на которой надо было договориться о форме пропусков.

По выходе из штаба, я носом к носу столкнулся с сияющим Блашенко. Этот человек, казавшийся мне всегда излишне строгим, придирчивым, теперь был готов обнять всех на свете. Он и меня схватил за талию и, хотя был ниже ростом, приподнял меня и закружил в подъезде дома.

— Грошик, грошик ты несчастный! Да ведь я к своему Тольке еду!

— Подождите. Пустите! Я-то тут ни при чем. Лучше скажите, когда едете?

— Сейчас поеду в полк оформлять документы, а там дня через три-четыре, — ту-ту-туу! — поехали!

— Вы хоть сообщите мне, когда уезжать будете. У меня для Тольки подарок есть.

— Обязательно, Миша, обязательно!

— А Горобский-то уехал, что ли?

— Не знаю… Кажется, уехал.

Он крепко встряхнул меня за плечи и, как на крыльях, взвился по лестнице на второй этаж.

Блашенко был счастлив. Ведь это он назвал меня сейчас «грошик» и «Миша». Да за такие слова он всегда косился на Коробова и Мартова, искренне считая, что такая форма обращения недопустима в армии. И вот этот суровый службист совершенно преобразился от одного сознания, что скоро окажется дома.

Подивившись такой перемене, я вышел к мотоциклу и пустился в обратный путь.

Сразу за деревней начинался крутой подъем. Дорога шла под железнодорожный мост, круто выбегала на высокий холм и тут же спускалась в глубокую лощину.

На подъеме пришлось открыть газ до отказа, а когда дорога пошла вниз и потребовалось сбавить газ, это оказалось невозможным. Трос где-то заело, мотор ревел, скорость угрожающе росла. Пришлось заглушить мотор и ехать по

длинному спуску «самокатом». А там — еще один подъем, и следующий спуск доходил почти до самой мастерской Отто Шнайдера.

В коробке для инструментов лежала одна только масляная тряпка, так что о каком-то ремонте в пути не могло быть и речи. Съезжая со второго спуска, я увидел приветливо открытые двери мастерской Шнайдера и подкатил к ним на бетонированную площадку. Я подал руку вышедшему из мастерской Отто — он подставил правый локоть, показывая свои грязные руки.

— Значит, все-таки пожаловали в гости, господин лейтенант?

— К стыду моему, до сих пор не мог собраться заехать. И сегодня бы проехал: тороплюсь, да вот машина дорогой мудрить начала.

— Ну, это мы сейчас исправим. Анна! — крикнул он в сад. — Принимай гостя…

Отто пошел в дом и вернулся оттуда с вымытыми руками, неся две хороших сигары и два сигарных мундштука.

Мы присели на скамейку возле забора сада и закурили. Анна, жена Отто, расположилась по другую сторону от меня. Из сада вынырнул Ганс, он меня громко приветствовал:

— Добрый день, господин лейтенант! — и тут же без запинки добавил: — А знаете, Густава Карца уже судили.

— И что же ему присудили?

— Расстрел! — выпалил Ганс.

— Да, знаете ли, — вмешалась Анна, — оказалось, что у него хранилось много оружия, он крал велосипеды и мотоциклы, развратничал. Бедная Луиза — жена его — совсем высохла. Не жалко эту потаскуху Ирму, но ведь он убил родного сына из-за нее! И за все это ему присудили только расстрел!

— Вы говорите, у него нашли много оружия?

— Да, только не дома, а там, в лесу.

— И много?

— Не могу сказать точно, — вмешался в разговор Отто, — но больше десятка одних пистолетов, были винтовки и много патронов. Говорят, он откровенно признался, что давно собирался уйти в Западную Германию, потому не хотел работать и жить честно. Там-то он бы спасся от наказания.

Только теперь мне стало понятно, почему оживился Густав, когда во время допроса речь шла только об убийстве двух человек. Он считал, что если удастся скрыть оружие, то все преступление будет иметь только уголовный характер.

— Значит, вы говорите, ему присудили только расстрел? — обратился я к Анне.

— Да, только расстрел.

— А что же, по-вашему, ему следовало присудить?

— Как — что? Его надо было сослать в Сибирь! Все говорят, что его надо было сослать в Сибирь, чтобы он корчился там от страшного холода, чтобы его растерзали там звери или людоеды, а может быть, он подох бы от голода.

Я не мог удержать улыбки от этой тирады.

— Что вы смеетесь? — удивилась Анна. — Разве вы считаете, что Карц не достоин более сурового наказания?!

— Я считаю, что Густав Карц наказан вполне справедливо.

— О-о! Коммунисты всегда гуманны, мама, — резюмировала подбежавшая белокурая Гильда, дочка Шнайдера. — Иногда они гуманны даже больше, чем надо! Вы только подумайте: Карц в него стрелял, и он его защищает. Какое великодушие!

— Да, что же я сижу? — спохватился Шнайдер. — Ведь вы сказали, что у вас нет времени.

Я хотел объяснить сущность поломки, но он отмахнулся:

— В этом-то уж я сам разберусь.

Он пошел к мотоциклу, а Гильда заняла место отца рядом со мной. На ней было домашнее клетчатое платьице, такой же передничек, край которого она держала в руке, да большие, с чужой ноги, башмаки на деревянной подошве. Но даже в таком наряде она была хороша, лишь чуточку полнее, чем обычно бывают немецкие девушки в ее поре. Простота обращения сразу располагала к ней.

Гильда отбросила рукой прядку волос, спадавших ей на лицо, и достала из кармана передника большое краснобокое яблоко.

— Это вам, — сказала она, — а это тебе, — и подала Гансу другое яблоко, извлеченное из второго кармана, а сама, откусив третье яблоко и болтая ногами, продолжала: — Мама, разве я не правду говорю, что коммунисты слишком гуманны?

— Не знаю, — ответила мать, — может, господин лейтенант скажет, почему он считает, что Карца не следовало наказать суровее?

— Я вовсе не намерен защищать Карца, но если вы желали Карцу добра, то тогда, конечно, можно бы его сослать даже и в Сибирь. — Собеседники удивленно уставились на меня. — Рыбы там, хоть отбавляй, хлеба привозят достаточно, есть мясо и овощи, а от морозов найдутся хорошие шубы. И жил бы там ваш Карц, как у Христа за пазухой!

— Постойте, — недоверчиво возразила Гильда, — а вы хорошо знаете, что такое Сибирь? Сами вы откуда?

— Можно сказать из Сибири… — эти слова, подобно грому, подействовали на слушателей. Гильда испуганно вскинула брови и перестала жевать яблоко, а ее мать невольно отшатнулась от

меня, говоря:

— Не может быть. Там живут дикари, там… — она так и не договорила, что еще «там», а Гильда закричала:

— Пропаганда! Пропаганда! Я сама читала о Сибири, там сказано… А когда я училась, нам учитель тоже рассказывал о ней…

— Я не договорил, сам я с Урала, но там рядом Западная Сибирь и восточная часть Урала сливаются. Но и в самой Сибири мне приходилось жить несколько лет…

— Момэнт! — крикнула Гильда. — А кто ваш отец, кем он работает и где живет? Он коммунист, пропагандист, председатель?

— Нет, не коммунист, не председатель, а простой колхозный кузнец и живет там же, на Урале.

Это сообщение тоже было встречено недоверчиво, но вслед за ним на меня посыпалась масса вопросов. Они спрашивали о самых, казалось, известных вещах: какой в Сибири климат; сколько месяцев длится зима; какие растут там деревья, есть ли ягоды, грибы; какие звери водятся в сибирских лесах; какие народности там живут, что они из себя представляют, чем занимаются, как одеваются — вопросам не было конца.

Я старался яснее ответить на их вопросы, а Отто Шнайдер, когда ему требовался какой-нибудь инструмент и надо было отойти в мастерскую, просил:

— Вы подождите, господин лейтенант, не рассказывайте, пока я хожу.

Дело усложнилось еще тем, что хотя я свободно владел немецким языком, я не знал, как называется на их языке лось, осетр, рысь, нельма и многое другое. Приходилось называть их по-русски и потом уже окольными путями объяснять, что это за зверь, каков его цвет, рост, образ жизни и прочее.

Оказалось, что они знают Сибирь по преданиям и геббельсовской пропаганде и ничего не знают о настоящей Сибири. Все это надо было объяснить.

Окончив ремонт, Отто присел на переднее сиденье мотоцикла, поджег недокуренную сигару и изрек:

— Выходит, что Геббельс, размалевывая самыми страшными красками сибирских дикарей, старательно делал дикарей из нас самих. А про колхозы нам говорили такое, что и подумать страшно.

— Нет, а я все-таки не верю, что вы — сын колхозника, — вставила Гильда. — Сибирь, может быть, и правда такая, как вы говорите, но что колхозник — неправда. Пропаганда!

Пришлось достать из планшета фотографию, на которой

были запечатлены мы с отцом у наковальни в колхозной кузнице. Отец — в кожаном картузе, брезентовом фартуке и рукавицах — держал клещами раскаленную полосу железа, поставив на ее край зубило. А я — в рубашке-косоворотке, тоже в фартуке и кепке, сбитой на затылок, — замахнулся кувалдой для удара. Уже во время войны, перед уходом в армию, мне пришлось некоторое время работать молотобойцем у отца.

— Все равно бы не поверила, — упорствовала Гильда, — если бы вас не было на фотографии.

— Ну, это уж как угодно. Вы меня спрашивали и на все я отвечал, как умел. Теперь разрешите задать вам пару вопросов.

— О, пожалуйста, — откликнулся Отто, — если вас что-нибудь интересует.

— Какое у вас образование, господин Шнайдер?

— Среднее техническое, — не без гордости ответил он, — но в автомоторах я разбираюсь не хуже любого инженера.

— В этом нет сомнения, но, получив образование, вы хорошо узнали только машины…

— А человека, да еще сибирского, нам и не полагалось знать, по убеждениям Гитлера и всех его помощников, — перебил меня Отто. — В этом не моя вина.

Со следующим вопросом я решил обратиться к Анне, считая, что она жила всю войну дома и хорошо знает все геббельсовские «утки».

— А что, фрау Шнайдер, разве не было в пропаганде Геббельса, что не только сибиряки, а и вообще русские — это не люди, а дикари, — по образу жизни, мыслям и поступкам, что у них даже есть… рога?!

Эта уже немолодая женщина смутилась, лицо ее покрылось красными пятнами.

— Да, это было, — твердо, с расстановкой сказала она. Только никто этому не поверил, потому что наши мужья были на фронте и не видели людей с рогами. А здесь всю Германию забили пленными, и среди них никто не встречал таких. Пропаганда скоро внесла поправку в эту глупую ложь, заявив, что не вообще русские, а коммунисты — обязательно с рогами.

Гильда, Ганс и Отто весело захохотали, а Анна, отирая с лица пот, закончила:

— Но потом они совсем об этом замолчали.

— Вы, конечно, тоже коммунист? — спросила Гильда.

— Нет, пока еще только комсомолец, — ответил я, встав со скамейки, чтобы идти к мотоциклу.

— О-о, это все равно! Комсомолец — это маленький коммунист… У вас, наверно, тоже уж рожки прорезались под

фуражкой… Бе-ее!

— Гильда! — крикнул на нее отец, но девушка, звонко захохотав, сбила с меня фуражку и с легкостью серны вскочила на крыльцо, протопала деревянными подошвами по веранде и, захлебываясь от смеха, выглядывала в растворенное окно на кухне.

— Глупая девчонка, — говорил Отто, а мы все от души смеялись.

Когда уже работал мотор и я собирался сесть на мотоцикл, подошел Ганс, потянулся к моему уху и тихо, чтобы никто нас не слышал, попросил:

— Вы мне когда-нибудь подарите звездочку… когда вам не надо будет?

— А тебе какую? — так же тихо спросил я. — Большую или маленькую, как на погоне?

— Большую лучше.

Порывшись в карманах и ничего там не найдя, я взялся было за козырек фуражки, но Ганс строго предупредил:

— Не надо! Отец увидит — ворчать будет.

— Вы не возражаете, если Ганс прокатится со мной до конца деревни? — спросил я у Отто Шнайдера, прощаясь с ним.

— Пожалуйста! Только он и на машинах достаточно катается… А вы обязательно приезжайте еще: такие беседы полезны.

## *3*

Вернувшись на заставу, я увидел во дворе такую картину. Человек пять, задержанных на линии, толпилось у подъезда. Здесь стояли миловидная женщина лет тридцати пяти, с какими-то картонными коробками; мужчина лет сорока, очень высокий и тощий, без головного убора, с длинными рыжими волосами. Он презрительно поглядывал на происходящее вокруг и все время делал движения плечами, словно с них сползал плащ, а он хотел удержать его. Носок огромного рыжего полуботинка неудержимо подпрыгивал. В одной руке он держал маленький красивый чемоданчик, другая была засунута в карман плаща.

Два молодых парня, очень похожие друг на друга, в одинаковых желтых куртках и серых брюках, держались свободно и, казалось, временный плен их не угнетал.

Совершенно обособленно держался старик в весьма оригинальном костюме. Седую голову с волнистыми спускавшимися на плечи волосами украшала зеленая шляпа; на

переносице покоилось пенсне; черный галстук на белой манишке, просторный серый пиджак, тяжелая трость — все это выглядело довольно представительно. И вдруг — коротенькие замшевые трусики и голые стариковские ноги, костлявые и сплошь покрытые волосами до самых ботинок. Пустой рюкзак на спине со множеством карманов и карманчиков делал его фигуру еще более сутулой и даже горбатой. Было видно, что старик очень взволнован: короткие усики по-боевому щетинились на его сухом лице, а козлиная бородка чуть заметно вздрагивала.

Мне пришлось без промедления заняться задержанными. Старшина Чумаков, выполнявший обязанности помощника начальника заставы, доложил, что среди задержанных подозрительным является только один: высокий немец, а остальные — мирные люди. Поэтому было решено начать знакомство с него.

— Что у него обнаружено? — спросил я у Чумакова. Он взял у задержанного чемоданчик и раскрыл. Внутри его были всего две вещи: артиллерийский оптический прицел, прикрепленный ремнем, и коробка величиною чуть побольше наушника, тоже прикрепленная ремнем к стенке чемодана. Документы не вызывали подозрений.

— Откуда и куда идете, господин Шмерке? — задал я вопрос, с которым приходилось обращаться чуть ли не к каждому задержанному. Он очень спокойно и обстоятельно начал объяснять, что живет недалеко от Нордхаузена, что был у родственников в Ганновере и теперь возвращается домой.

— А зачем вам понадобилась вот эта вещь? — указал я на прицел.

— О-о! Господин лейтенант считает, видимо, что я собираюсь стрелять из пушки, — рассмеялся немец. — Нет. Я хорошо знаю оптику: оптический мастер. До войны работал в Иене на заводе фирмы «Карл Цейсс». Хорошо знаю фотодело, радио и в свободное время конструирую всякие безделушки, совершенствую фотоаппарат.

— Так при чем же тут все-таки прицел?

— Ах да, прицел! У него, видите ли, поставлены очень качественные линзы. Вот они-то мне и нужны.

— В Западной Германии такие вещи продают в магазинах? — спросил я.

— Вы, оказывается, большой шутник, — снова рассмеялся Шмерке и тяжело положил на стол руку, покрытую густым рыжим волосом. — Я нашел эту вещь на берегу Эльбы, на месте бывших боев.

В самом деле, вглядевшись внимательно, можно было

заметить в прорезях шурупов мелкие песчинки.

— А это что за прибор? — спросил я, пытаясь вскрыть вещь, похожую на радионаушник. Задержанный встрепенулся и предупредительно выбросил вперед руку.

— Что вы, что вы, господин лейтенант! Так можно испортить вещь! Это — прибор для определения чувствительности пленок. В теперешнее время не просто приобрести его.

Уложив на место прибор, я закрыл чемодан, велел Чумакову увести задержанного в отдельную камеру. А когда вернулся Чумаков, мы извлекли этот загадочный прибор, и старшина отправился с ним к местному радиомастеру с тем, чтобы выяснить, что это за прибор, ибо сильная встревоженность его хозяина настораживала.

Сержант Жизенский ввел двух молодых немцев, которые заявили, что бегут из Западной Германии от новых порядков, что в Гарделегене у них живет старшая сестра, там они надеются найти работу и жить пока у сестры. Кроме того, они прослышали о создании Союза свободной немецкой молодежи и хотели бы вступить в него. На все вопросы отвечал старший, которому было лет девятнадцать — двадцать.

А когда он закончил, младший брат вытащил из рукава большой кинжал с фашистским значком на рукоятке и положил на стол.

— Этот нож, — сказал он, — забросил под нары тот высокий мужчина, который был с нами, а нам пригрозил всем, чтобы мы не вздумали сказать об этом.

— Спасибо…

— Бедная женщина так перепугалась, что даже заплакала, когда он грозился.

Вещей у этих ребят почти не было. В их общей сумке, как доложил Жизенский, ничего не обнаружили, кроме скудного запаса продовольствия. О документах говорить не приходится, ибо у абсолютного большинства перебежчиков они были в порядке. Поэтому задерживать приходилось только тех, кто явно на чем-нибудь попадался. Всех подозрительных или уличенных мы передавали немецким полицейским властям, которые разбирались с ними, а остальных отпускали.

Этих ребят решено было отпустить. Следом за ними ко мне вошла женщина. Она положила на стол паспорт и быстро-быстро рассказала о том, что давно живет в этой части Германии, что муж погиб во время войны, что своих детей у нее нет и что шла она к дяде в Западную Германию, у которого трое хорошеньких детей, но ее задержали «русские солдаты». Рассказывая обо всем этом, она раскрыла обе свои коробки и извлекла из них

множество всяких игрушек. Когда были выложены игрушки, я достал кинжал, который мне дал задержанный юноша и спросил, кому он принадлежал.

— О, этот бандит так напугал меня, так напугал!

— Который? Тот, что в куртке, молодой?

— Нет, что вы! Нож был у того высокого, в плаще. У-у, я его до сих пор боюсь!

— Ну, что ж, фрау Экерт, игрушки свои можете взять, но через линию здесь проходить нельзя. Ведь вы хорошо знаете, что для перехода через демаркационную линию есть специальные пункты…

— Конечно, все об этом знают, господин комиссар (те, кто не знал военных званий в нашей армии, называли нас, как вздумается), все об этом знают, но вы подумайте только, как это далеко! — так же быстро говорила фрау Экерт, сгребая игрушки в подставленную к крышке стола коробку. — Сколько на это надо денег и времени! А у меня нет ни того, ни другого…

Коробка выскользнула из ее рук, опрокинулась, и со дна ее к моим ногам вылетел тетрадный листок, на котором старательной детской рукой были выведены мелкие цветочки, елочки, тележка, веревочка от которой лежала около мальчика. В левом углу был нарисован домик, и еще несколько мальчиков были изображены на рисунке.

Полюбовавшись с минуту рисунком, я подал его женщине, заметив:

— Кто же это так рисует? Ведь вы говорите, что у вас нет детей?

— Да, — запнулась она, укладывая листок на дно коробки, — этот подарок посылает мой племянник по сестре. Он трудился над этой картинкой чуть не целый день и просил передать родственникам как самый дорогой подарок…

— Можете быть свободны.

Фрау Экерт собрала в охапку коробки и не сложенные еще в них игрушки и, усердно раскланиваясь, говорила:

— Нет уж, господин комиссар, лучше я пока не увижу этих славных ребятишек, но здесь больше не пойду.

Не успели еще скрыться за дверью Жизенский и фрау Экерт, как меня словно уколола догадка.

— Жизенский! — крикнул я вслед, кинувшись к выходу. Они уже были на последних ступеньках лестницы и, услышав мой окрик, остановились. — Уведите ее пока на старое место, а игрушки давайте сюда. Фрау Экерт, вам придется подождать еще несколько минут, — сказал я, спускаясь к ним.

Поднявшись наверх, я раздвинул занавеску, за которой

скрывался план нашего участка демаркационной линии, взял детский рисунок, и тут все стало ясно.

Маленький домик в левом углу рисунка стоял как раз на месте расположения нашей заставы, тележка заменяла караульное помещение, а веревочка от тележки, упавшая из рук мальчика, точно повторяла изгиб дороги. Мальчики аккуратно стояли на тех местах, где располагались наши посты. Не будучи еще вполне уверен в достоверности своих подозрений, я схватил на столе курвиметр и начал сравнивать линии и расстояния. Оказалось, что рисунок выполнен в строжайшей масштабной точности.

— Смышленый племянник у этой фрау, — заметил Жизенский, наблюдавший за мной, — еще и писать не умеет, а масштаб уже знает!

В это время вернулся Чумаков.

— Понятно, — сказал он, — почему собаки не стали на линии появляться. С собаками они провалились, теперь думают радиосвязь наладить. Ведь эта маленькая штучка — радиопередатчик.

— Вы поинтересовались, каков радиус действия этого аппарата «для определения чувствительности фотопленок»?

— Мастер говорит, что при хороших условиях он может действовать километра на два — на три, не больше.

— Значит, с таким аппаратом нельзя уходить далеко от линии. Пригласите задержанного, Жизенский.

Жизенский привел задержанного, который покосился на свой чемоданчик, лежавший на том же месте, где был оставлен после первого допроса, и сел на прежнее место к столу.

— Вы, господин Шмерке, очень торопитесь домой? — спросил я его.

— Конечно, мне бы очень хотелось побыстрее оказаться дома.

— Да, я вас вполне понимаю, но, видите ли, на дворе уже вечер, а у нас еще много задержанных. Разобраться со всеми мы просто не успеем, поэтому вам придется еще погостить у нас.

— Господин лейтенант, я вас очень прошу! Меня теперь потеряла семья, меня ждет работа! Вы же знаете, как трудно живется сейчас всем немцам… Я вас очень прошу…

— Ишь, как рассыпается, змей, — не выдержал Жизенский, сказав это на русском языке.

— Не мешайте нам разговаривать, — насколько возможно спокойно, но строго сказал я Жизенскому, хотя считал, что все уже пропало. — Нет, — обратился я к Шмерке, — мы вовсе не хотим вас долго держать. Вы у нас проведете только одну ночь, уверяю вас, — не больше.

— Воля ваша…

— Ничего. У нас неплохо. Можете взять ваши вещи, — указал я на чемодан. Шмерке схватился волосатой рукой за чемодан и, не торопясь, осторожно открыл его.

— Вещи на месте, можете не сомневаться. Только прицел оставьте здесь, остальное возьмите. А теперь вам дадут ужинать, и желаю вам спокойной ночи.

Шмерке встал, галантно раскланиваясь. Я черкнул на клочке бумаги: «Ни слова с задержанным!» и подал его Чумакову, предложив проводить Шмерке на место. Они ушли.

— Вас удовлетворило то, что вы сказали ему глупость? — спросил я Жизенского.

— Я ведь сказал по-русски…

— А если он знает русский язык?

— Все равно и так видно, что бандит первой марки.

— Сержант Жизенский, смирно! — вспылил я. — За излишнюю болтовню — наряд вне очереди. Вольно!

Жизенский удивленно посмотрел на меня, поправил свой чуб и пилотку, одернул гимнастерку, которая и без того была заправлена великолепно, и молча присел на подоконник, где сидел раньше.

Вернулся Чумаков. Он понял, что тут произошло, и укоризненно посмотрел на Жизенского.

— Поспешность, товарищ Жизенский, — продолжал я уже спокойно, — полезна… далеко не везде. И наше счастье, если этот самый Шмерке не понимает по-русски. А если понял, то, кроме него самого и его прибора для «определения светочувствительности пленок», нам ничего не видать.

— Да, плохо, друг, когда сначала скажешь, а потом подумаешь, — по-товарищески заметил Чумаков. — Этак одним словом все испортить можно.

— Теперь вам понятно, товарищ сержант, за что объявлено наказание?

— Понятно, товарищ лейтенант, — ответил он упавшим голосом.

— Тогда давайте сюда старика.

Старик в замшевых потертых трусах явился в том виде, в каком я встретил его у подъезда, даже рюкзак не был снят с плеч и трость все так же дрожала в его руке. Он со вздохом опустился на предложенный стул, потер рукой голое колено и глухим от волнения голосом произнес:

— По-моему, господин комендант, здесь произошло недоразумение, ошибка…

— В чем?

— Я… я бывший учитель естествознания, к тому же почти слепой. Теперь — садовник. Я совсем не собирался на ту сторону: мне нечего там делать.

— Зачем же вы оказались у самой линии?

— Не видел, господин комендант, не видел! Я собирал растения для гербариев и совсем неожиданно забрел туда.

Старик говорил так искренне, что нельзя было не поверить ему.

— Что ж, покажите ваш паспорт.

— К сожалению, у меня нет с собой никаких документов, — развел руками старик. — Да их и не надо, — вдруг встрепенулся он. — Я ведь из соседней деревни, что расположена к югу отсюда. Только потрудитесь, пожалуйста, свериться. Там меня все знают. Да и в этой деревне у меня много знакомых.

Старик начал поспешно перечислять многие фамилии жителей Блюменберга и среди них назвал Карла Редера.

— Карл Редер? Здешний бургомистр?

— Да, да, да! — обрадовался старик.

— Тогда все проще простого. Идемте к нему.

Старик заметно оживился, но разговора у нас не получалось. Я нарочно отставал от него, чтобы определить, знает ли он, где живет Карл Редер, а старик, запинаясь за булыжник, трусил по дороге, приговаривая:

— О, здесь недалеко, здесь совсем близко.

Как ни был расстроен Карл Редер многими заботами дня, но, увидя нас, расхохотался молодо и звонко.

— Шпигель! Откуда ты свалился? Уж не закатился ли сослепу к англичанам?

— Вот именно, дорогой Карл, вот именно, чуть не попал к англичанам.

— Эх, старик ты, старик, сидел бы уж лучше дома, коли не можешь отличить черное от белого.

— Да я, кажется, и ушел недалеко, а попал вон куда. А тут еще какие-то два молодых человека показали мне на цветочное место, я и пошел туда… Теперь устал так, что не знаю, как и домой доберусь.

— Извините нас, дедушка Шпигель, — сказал я и, присев к столу, написал несколько слов Чумакову. — Вот, возьмите эту записку и отдайте ее на заставе любому солдату. Тот фельдфебель, что был со мной, сейчас собирается на повозке ехать в Нордхаузен, он вас и довезет.

— Спасибо, господин комендант, спасибо! — кланялся Шпигель, принимая записку и пятясь к дверям.

— Ну, а теперь мне надо связаться с полицейским

управлением. Кажется, не все такие, как Шпигель, к нам попадаются…

Я рассказал Редеру о задержанном Шмерке и в заключение добавил:

— У нас нет возможности заниматься в дальнейшем деятельностью Шмерке, а она очень интересна. По-моему будет полезнее отпустить его на волю. Умелое наблюдение за ним позволит узнать много интересного. Тем более, что Шмерке, пожалуй, твердо уверен в нашей глупости и неосведомленности. Если полиция возьмет дальнейшие заботы о Шмерке на себя, то мы с удовольствием разрешим ему обмануть нас. Он же только этого и хочет. Так что все будут довольны.

— Это было бы хорошо!

— Тогда сообщите об этом в управление полиции. Пусть дадут человека к утру, чтобы можно было передать Шмерке с рук на руки.

— Сейчас же схожу и позвоню.

— Ну, а что решили на собрании о земле?

— Эх, земля, земля! — произнес старик с горечью. — Кругом земля, а земли нет. И так-то ее мало, да и той как следует пользоваться не приходится… Клевер решили убирать и землю отдать хозяевам свободную, а рожь и другие культуры придется ждать до осени… Не губить же все это добро! — кричал Редер, будто я возразил ему. — Посмотрели бы вы, какое это было собрание! Наверно, с самого потопа такого спора не было.

— Но к переговорам-то с бургомистром из Либедорфа вы готовы?

— Конечно, готов. Как решило собрание, так и будут договариваться.

## *4*

Еще до восхода солнца меня разбудил дежурный по заставе сержант Жизенский, бывший в неочередном наряде, и сообщил, что со мною хочет видеться какой-то человек. Наскоро умывшись и одевшись, я пригласил к себе этого человека.

Вошел скромно одетый юноша, ладно сложенный, лет двадцати — двадцати двух и предъявил документы. Это был посланник полицейского управления. Во время вчерашнего допроса Шмерке назвал своим местом жительства большой рабочий поселок, расположенный на пути к городу. Место жительства подтверждалось и паспортом Шмерке.

Поэтому договорились так. Шмерке отпускаем на свободу.

Следом за ним отправляется полицейский в гражданской форме. В деревне же, куда шел Шмерке, должны ждать еще двое полицейских, которые и проследят дальнейший его путь до остановки. Я рассказал полицейскому о случае с собакой и на всякий случай передал записку, найденную в ошейнике.

Пока он ходил договариваться по телефону о том, чтобы выслали встречных, я вызвал Шмерке. Заспанный и помятый, он явился в сопровождении Жизенского и так же, как и вчера, сначала покосился на артиллерийский прицел, который лежал на старом месте, потом задержанный подчеркнуто вежливо раскланялся:

— Доброе утро, герр лейтенант! — причем, первые два слова были произнесены по-русски, хотя и не очень правильно.

— О, доброе утро, господин Шмерке! Вы, оказывается, говорите на нашем языке! Почему же вы раньше им не воспользовались? — произнес я по-русски.

Шмерке смотрел на меня непонимающим взглядом. Пришлось это же повторить по-немецки.

— К сожалению, могу только произнести эти два слова. Не больше.

— Ну, как вы у нас переночевали?

— Спасибо, господин лейтенант. Правда, не так уж мягко, зато спокойно: под охраной, — заулыбался он. — А вчера за день я прошел много километров и очень устал, так что спалось здорово.

— Значит, правду у нас говорят, что утро вечера мудренее. Теперь вы отдохнули и сможете легко дойти до дому.

— Вот ваш прицел. Возьмите его, но на другой раз не советую с ним попадаться. Если вам нужны линзы, возьмите их, но зачем же носить с собой весь прицел?

— Все равно я его выброшу: он мне ни к чему. Возьму только линзы…

Шмерке тут же попытался добыть одну из линз, но я остановил его и, еще раз посмотрев в паспорт, спросил:

— Значит, вы идете в Вейльроде?

— Да.

Я подал ему паспорт.

Шмерке сдержанно, с достоинством поклонился и, шурша плащом, четко отбивая шаги, направился к двери. Жизенский пошел проводить освобожденного, чтобы его не задержал часовой у подъезда. В окно было видно, как Шмерке вышел во двор, тряхнул копной рыжих волос в сторону пропустившего его часового и, миновав арку, зашагал к деревне по обочине дороги.

За ним на почтительном расстоянии заковылял полицейский,

сильно хромая и опираясь на палку. Через несколько минут Карпов, сопровождающий фрау Экерт, отправился по той же дороге. Они о чем-то оживленно разговаривали, хотя больше им приходилось объясняться жестами, потому что знания Карпова в немецком языке были довольно ограничены. Эта пара мало походила на конвойного и конвоируемого, они больше напоминали равноправных спутников. Такой конвой вселял некоторую тревогу, хотя в бдительности Карпова я не имел права сомневаться.

— Ну, этих всех отправили, — сказал вернувшийся Жизенский, — а из караульного передают, что там опять уже есть задержанные. — Он тяжело вздохнул. — Когда же все это кончится?

— Не скоро. Думаю, не раньше, чем ты демобилизуешься.

— Да я — ничего, только надоело целыми днями вертеться, как на иголках… Хоть бы служить в Союзе, — признался он.

— Кто же с этим будет спорить. Но служба есть служба. И тут иногда собственный язык может оказаться врагом.

— Я уж понял, товарищ лейтенант, мне вчера Чумаков целую лекцию прочитал.

Вошел Фролов и доложил, что меня просят явиться на первый пост, к караульному помещению: там приехал английский офицер и требует командира. Фролов был бледен после бессонной ночи, и легкий пушок на верхней его губе оттенялся сильнее, придавая всему его лицу еще большую худобу.

— Вы устали, Фролов?

— Да, очень устал, товарищ лейтенант, — признался Фролов, — вторые сутки пошли…

— Крепись — скоро смена.

Часто солдаты отдыхали меньше положенного: людей не хватало.

Через несколько минут я уже подъезжал к первому посту. За проволочным забором стоял военный легковой автомобиль, а около него расхаживал Чарльз Верн. Не успел я сойти с мотоцикла, как капитан, вскинув руку под козырек, бойко рапортовал, не отходя от проволочного забора:

— Господин лейтенант, мой командир приказал мне передать, что он желает встретиться с вами сегодня ровно в шестнадцать часов на участке вашего соседа справа.

Судя по подчеркнуто официальному тону, которым были произнесены эти слова, можно было подумать, что капитан забыл о предыдущей встрече и о своих дружеских словах. Я приветствовал его по-армейски. Капитан неожиданно рассмеялся и, крепко сжав мою руку, продолжал:

— На этом моя официальная миссия кончена. Правда, майор приказал мне «разговаривать с русскими покороче» и быстрее возвращаться, но уж раз выпал такой случай, думаю, что теперь мы поговорим по-настоящему, если никто не помешает… Да, — спохватился он, — вы не возражаете против времени встречи? Вас это устраивает?

— Вполне. Я хотел сегодня связаться с вами.

Мы сошли с дороги и уселись на край кювета.

— О чем бы вы хотели поговорить, господин капитан, что вас так волнует?

— О, волнует меня многое и, прежде всего, вот это. — Капитан достал из кармана смятую немецкую газету и ткнул пальцем в заголовок небольшой статьи. — Вот что меня волнует! Вы только почитайте.

В статье говорилось, что английские власти оказывают всяческую помощь немецкому населению. На днях рабочим Ганновера английское правительство прислало баржу картофеля.

— Ну, что ж тут особенного? — спросил я, возвращая газету.

— Конечно, ничего особенного, дорогой мой. Н-но… если бы это так и было на самом деле… Видите ли, эту газету дал мне один знакомый немец. У него самого отобрали несколько центнеров картофеля… Ясно, откуда подарок?

Я удивился такому признанию нежданного гостя. Но он, видимо, торопился и хотел, чтобы собеседник поскорее узнал, с кем имеет дело.

— Ловко состряпано.

— Где там к черту — ловко, когда у всех на виду сделали!.. Понимаете, я в прошлом топограф: всю жизнь копался с чертежами, старался как-нибудь не видеть всякой грязи и, хотя я видел и ложь, и кражи, но все это было ничто против того, что вижу сейчас.

Чарльз Верн говорил без умолку, все более распаляясь от собственной разоблачающей речи, а я молча слушал его.

Его маленькие очки в серебряной оправе тряслись на переносице, лицо порозовело от волнения, а губы сделались еще бледнее. Казалось, он забыл о моем присутствии.

— Я с охотой пошел на войну с фашизмом. Мы били фашистских молодчиков, а теперь они свободно разгуливают и, не стесняясь говорят, что скоро у них будет армия еще более могучая, чем была. И что странно: наши, кажется, готовы им помочь в этом. Ведь как это получается, — горячо продолжал Верн. — С врагами, бомбившими наш Лондон, нам предлагают дружбу, а с товарищами по оружию, с русскими, буквально заставляют враждовать… Впрочем, после случая с картофелем,

меня уже не так просто удивить.

— Да, не так уж давно наши армии были дружественными.

— А знаете, ведь я в прошлый раз приезжал из-за того, что не мог молчать. Я, наверное, тогда казался смешным, как и теперь, не правда ли?

— В этом нет ничего смешного. Но почему вы устремились сюда?

— Куда же мне больше податься? Ведь у нас об этом и заикнуться нельзя. Когда я прочитал эту статью, то готов был выскочить на улицу и кричать, что все это ложь, черт побери!

Было ясно, что Чарльз Верн явился за тем, чтобы, как говорят, «отвести душу».

Он расспрашивал у меня, как управляется советское государство, какие существуют у нас учреждения, как живут служащие, рабочие, не преследуются ли верующие и о многом другом.

Я старался подробно отвечать на вопросы. Слушая меня, капитан задумался и, сняв очки, долго протирал их клетчатым платком, время от времени проверяя на свет и щуря серые глаза. Солнце поднялось уже высоко. Верн снял фуражку с высокой тульей, столь же тщательно протер вспотевший лоб, надел очки и тяжело вздохнул:

— Эх, если б я был молод, если б у меня не было семьи, — я знал бы тогда, что делать!

— Что же бы вы тогда сделали?

— Бежал бы! Вот прямо сейчас, плюнул бы на все и бежал бы… — Он взглянул на машину, вскочил на ноги и застыл в этой позе. — А ведь это, кажется, за мной посол катит.

От деревни слышался глухой треск мотоцикла, рокочущего в густом, нагретом воздухе. Чарльз Верн торопливо подал мне руку и проворно юркнул между проволокой на ту сторону.

## *5*

Обед был прерван телефонным звонком. В трубке звучал голос старшего лейтенанта Блашенко:

— Кто слушает? Грошев! Вот тебя-то мне и надо. Куда ты там запропал?.. Сорок минут на все размышления и к половине третьего, чтобы был у нас, иначе мой отъезд состоится без тебя.

— А позднее можно? Часам к пяти?

— Ну, ты, брат, смешишь: в четыре двадцать пять поезд уходит.

— Очень жаль, но на четыре часа назначена встреча с

англичанами.

— Черт бы вас там побрал с вашими англичанами. Я же никого не приглашал, кроме Мартова, Коробова и тебя!

— Сам не приеду, а пильщика пришлю с Фроловым.

— Тьфу! — выругался Блашенко. — На кой мне черт пильщики, я же не нанимаю рабочих!

— Да не вам, а вашему Тольке! Игрушка такая.

— А-а-а, — протянул Блашенко, — тогда до свидания. — Он что-то еще проворчал и положил трубку.

Собрав скромную посылку, я отправил ее с Фроловым, а сам снова оседлал старый мотоцикл Редера и поехал к Чалову.

Асфальт, размякший от жары, шелестя уносился под колеса машины. Теплый встречный ветер ласково гладил лицо. С поля веяло запахом клевера и спеющей ржи. Я смотрел на дорогу, но виделись мне уральские и сибирские пейзажи. Отъезд Блашенко возбуждал все новые и новые мысли, о доме. Почему-то особенно затосковало сердце по березам.

Стоят эти белоствольные красавицы с зелеными кудрями, ласково шумят вершинами под вольным ветром, и тому, кто видит их каждый день, наверное, и в голову не приходит, что так можно тосковать по ним.

Как величественно стоят они на крутых берегах уральских рек и, склонившись над обрывом, смотрят в спокойную гладь реки, отражаясь в ней белыми стволами. Вечерами выходят на берег парни и девушки. Здесь и волейбол, и танцы, и песни. Хоть бы на вечер, на один час очутиться там…

Думались думы, мелькали перед глазами родные картины, а мотоцикл, между тем, катился и катился по пустынной дороге. Вдруг из воображаемой реки всплыл настоящий шлагбаум, полосатая стрела которого была полуопущена. Пришлось прижаться к баку, чтобы не задеть головой за стрелу.

…С капитаном Чаловым мы встретились на заставе. От него я узнал, что жители этой деревни решили поступить со своими посевами точно так же, как и в Блюменберге, иного выхода не было.

На линию отправились вместе. Ни мне, ни ему не приходилось участвовать в подобных переговорах, поэтому мы не имели представления о том, как и с чего начнется предстоящий разговор. Поехали на новом мотоцикле Чалова. Ехали молча, занятые своими мыслями. Вдруг Чалов хлопнул меня по коленке.

— Куда же нас несет?

— Как, куда? Разве мы не по той дороге едем?

— Дорога как раз та, да как же мы разговаривать-то будем? Мы не знаем английского, а они — русского. Вот наговоримся!

— Не волнуйтесь, товарищ капитан, — успокоил я его, надеясь на Чарльза Верна, — у них там есть человек, который хорошо говорит по-немецки. Вот с ним мы и будем говорить.

Чалов успокоился и до самой линии не произнес больше ни слова.

Мотоцикл решили оставить в тени одинокого дерева, стоявшего метров за двести от линии. С той стороны быстро шла открытая военная машина. Мы были метров за пятьдесят от линии, когда английская машина остановилась у самой проволоки. Из машины выпрыгнул человек в помятом берете и таких же помятых брюках. Суетливо забежав на другую сторону, он услужливо открыл дверцу для своего начальника. Тот неловко выволок запутавшуюся ногу и, поднявшись во весь рост, остановился в ожидании.

Офицер был непомерно высок и тощ. Узкое бледное лицо, надменно подтянутые губы и большие черные очки в роговой оправе — вот что бросалось в глаза. Фуражка с огромным верхом и большим козырьком, бросая тень на лицо, придавала ему особую мрачность. Вряд ли можно представить фигуру, более похожую на кобру, чем эта.

Мундир и брюки на нем были тщательно разглажены. Кокарда блестела, козырек блестел, пуговицы блестели, коричневые полуботинки блестели — все было ярко, гладко и холодно.

Подойдя, мы приветствовали ожидавшего офицера, но он лишь до половины поднял правую руку, на которой неизвестно зачем болтался стек. Этот жест мало походил на военное приветствие. Из-за спины майора выскочил тот же молодой человек, оказавшийся переводчиком, и предложил свои услуги. Капитан Чалов, недовольный встречей, спросил у переводчика:

— В вашей армии разве отменены приветствия?

— Вы имеете честь говорить с командиром батареи английской армии майором Ра, — выпалил переводчик, сделав вид, что не расслышал вопроса Чалова.

— Очень приятно, — усмехнулся Чалов. — А вы имеете честь говорить с двумя офицерами Советской Армии.

Майор не спросил перевода этих слов. Он высоко задрал тонкий горбатый нос, выпятив кадык на худой шее, хлопнул себя стеком и что-то сказал переводчику рокочущим голосом.

— Господин майор говорит, что у него нет времени на долгие разговоры, и он предлагает открыть линию завтра же.

— Это нельзя сделать, — возразил Чалов, — надо дать возможность немцам с той и другой стороны договориться между собой. Готовы ли они к открытию линии?

Выслушав перевод, майор недовольно поморщился и, не глядя на нас, что-то сердито сказал переводчику.

— Господин майор просит передать, что его не интересует мнение немцев.

— Это и без объяснения понятно… А вот как он будет рассчитываться за погубленные посевы вдоль линии, спросите-ка его.

Чалов уже терял спокойствие, с которым он начал разговор, а переводчик взял на себя смелость ответить самостоятельно.

— Господин майор лишь выполняет приказ своего командования…

— А что, посевы он истребляет тоже по приказу «своего командования»?! — Чалов уже не скрывал своего негодования.

Майор, заметив, что переговоры пошли без него, ударил себя стеком и так прикрикнул на солдата, что у того сразу пропала охота высказывать свои мысли. Он лишь тихо перевел слова майора:

— Извините, но господин майор говорит, что вы оба молоды и не можете хорошо знать немцев…

— Это мы не можем знать немцев?!! — вскипел Чалов. Полное лицо его покраснело, глаза загорелись, пальцы сжались в кулаки; он шагнул к проволоке.

— Спокойствие! — шепнул я Чалову, а переводчику сказал: — Мы тоже выполняем приказ командования, поэтому предлагаем завтра дать возможность встретиться всем трем бургомистрам, послезавтра, в субботу, окончательно решить вопрос о земле и посевах и обменяться образцами пропусков, а в воскресенье, ровно в двенадцать часов дня открыть линию сразу в обоих пунктах.

Слушая перевод, майор выдернул из грудного кармана две бумажки и сунул их солдату, что-то говоря и хлопая себя стеком. Я взял бумажки, просунутые между проволоками переводчиком. Это были образцы пропусков, написанные на трех языках: английском, русском и немецком. Внизу была подпись: «Командир 208-й противотанковой батареи майор Ра».

— Хорошо. Мы вам вышлем образцы пропусков, как я уже сказал, в субботу.

— Господин майор спрашивает, какое ваше мнение насчет места сбора бургомистров. Желательно, чтобы они собрались у нас, в Либедорфе. Он не будет с ними долго… нянчиться…

Чувствовалось, что солдат пытается смягчить грубости в речи майора, но это не всегда удается.

— Пусть бургомистры соберутся у нас, в Вайсберге, в девять часов, — уже спокойно сказал Чалов. — А господину майору

полезно подумать о том, как возместить убытки за истребленные посевы.

Солдат долго переводил слова Чалова, майор помрачнел еще более. Он пристально поглядел с высоты своего роста на Чалова, потом — на меня, кивнул головой и, повернувшись, пошел к машине, что-то коротко бросив переводчику.

— Мы очень спешим, — сказал солдат, пятясь от проволоки. — Господин майор согласен на все ваши условия… До свидания.

Они уехали.

— Ну и минога, — выдохнул Чалов, отирая платком потный лоб и отходя от линии. — Если бы еще поговорить минут десять, меня бы вырвало, право.

— Да, спеси в нем, кажется, столько, что если ее убрать, то больше ничего не останется.

— Это ты помешал мне душу отвести. Я бы ему объяснил, что мы не только немцев знаем, но и в англичанах разбираемся… Он бы меня без переводчика понял.

Всю дорогу до заставы в Вайсберге Чалов доказывал, что на грубость следует отвечать грубостью, и успокоился лишь тогда, когда я сказал, что мы ездили на линию не за тем, чтобы доказать, кто грубее, а выполнять задание.

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## 1

Орел совершенно поправился и рвался на волю. Когда к нему входили, он, играя, норовил схватить зубами за плечо или за руку и тихонько ржал, нетерпеливо пританцовывая и прядая ушами.

В субботу вечером, когда все хлопоты об открытии линии подходили к концу, я решил устроить Орлу хорошую разминку и заодно проехать по всему участку линии.

Выведенный из конюшни Орел весело заржал и бойко ударил копытом по мостовой, выбивая искры. Почувствовав на себе седока, конь взвился на дыбы, но удила заставили его осесть. Однако еще на протяжении целого километра пути он продолжал дурачиться и скоро изрядно взмок.

Вечер был тихий и теплый. Везде было празднично и торжественно: на завтра намечено открытие линии.

Еще днем, когда я ходил к бургомистру, заметил в одном из дворов рабочую повозку, любовно украшенную хозяевами. В ней лежали вилы, грабли и косы, красиво увитые разноцветными бумажными и матерчатыми лентами. Редер сказал, что на встречу с соотечественниками из английской зоны они выедут по-праздничному.

Он рассказал, что на совещании в Вайсберге бургомистр из Либедорфа жаловался на майора Ра. Когда он завел речь о погубленных посевах, майор резко оборвал его, сказав, что немцы причинили Англии много зла, что он не видит ничего плохого, если и немцы «немного победствуют».

Бургомистр пытался объяснить ему, что во всех бедствиях народов Европы, какие причинила им война, повинны не все немцы, а только нацисты, но майор отчитал его за неправильное понимание политики и запретил говорить об этом. На совещании долго спорили о том, как поделить убытки, но ничего определенного решить не могли. Редер предлагал снова обратиться в Берлин — его не поддержали другие бургомистры, ибо надежды на возмещение убытка англичанами не было, а тратить напрасно время не хотели.

Если раньше Карл Редер, хотя и в шутку, но говаривал, что немцам все равно, хоть русские, хоть англичане — лишь бы фашистов не было, то теперь он так не рассуждал.

На первом посту, куда я подъезжал, было так же тихо, как и на всей линии. Часовой доложил, что пост в полнейшем порядке,

что задержанных было только двое и что они уже отправлены на заставу.

Я направил Орла вдоль линии, столбы которой выстроились по отлогому склону холма, скрываясь в небольшой дубовой роще, и, выбежав из нее, уходили на самую вершину холма, где росло несколько буков.

На других постах тоже было все в порядке. Орел теперь шел ровно и спокойно. С запада, мне навстречу, из-за вершины холма, подымалась черная курчавая туча, которая настолько сгущала сумерки, что метров за пятьдесят ничего уже нельзя было различить. Мне оставалось побывать на четвертом посту, где стояли Таранчик и Соловьев.

Пост располагался на самой вершине холма и перекрывал узкую проселочную дорогу, которая спускалась к западной окраине Блюменберга и проходила в километре от нашей заставы. Во избежание возможных недоразумений (давно известно, что в темноте все кошки серы) я решил отдалиться от линии, несколько ниже выехать на дорогу и с юга попасть на пост.

Не успел Орел ступить на дорогу, как вдруг захрапел и бешено шарахнулся от нее. На нас сверху двигалось довольно быстро и бесшумно что-то большое и черное. В это же время с поста послышались крики: «Стой! Стой!» Затем прогремел выстрел вверх, вспышка сверкнула у самой линии, и послышался сокрушенный возглас Таранчика: «Ушел, чертяка!».

Между тем загадочный предмет приближался, и я различил двухколесную тележку на резиновом ходу, в которой стояла бочка ведер на двадцать. Оглобли волочились по земле и поперечиной, прикрепленной на их концах, несколько задерживали движение тележки. Орел трясся всем телом, храпел, пятился и, оскалив зубы, дико сверкал белками глаз.

Рванув повод, я ударил коня каблуками и галопом кинулся к посту.

— Стой, кто идет?! — взревел Таранчик, бежавший навстречу, вниз. Я назвал пароль.

— А, товарищ лейтенант! — крикнул он на ходу и саженными прыжками скрылся в темноте.

Наверху, между буками, бродил Соловьев и, склонившись, внимательно рассматривал что-то в траве. Ответив пароль, я спросил у него, что здесь происходит.

— Да что, — ответил он спокойно, — контры какие-то привязались.

— Контрабандисты, что ли?

— Ну да…

В это время послышался голос Таранчика: «Э-ге! Попался! Стой — стрелять буду! Шицен! Шицен!» В луче его фонаря мелькнула человеческая фигура, метнувшаяся по склону.

Я пустил коня вниз по клеверному полю в то место, где мелькнул огонек фонаря. Впереди показался бегущий человек. Видя бесплодность своих усилий, он упал, несколько раз перевернулся, катясь по склону, и затих.

Подскакав к нему, я заставил его подняться. Подоспевший Таранчик обыскал задержанного и, не найдя оружия, направил его на дорогу.

— Вы поезжайте на пост, товарищ лейтенант, а мы сейчас тоже туда прибудем, — сказал Таранчик.

Считая, что там еще кто-то должен быть, я поспешил к Соловьеву.

Туча к этому времени продвинулась на восток, и стало совсем темно. На вершине холма, на фоне темного неба, стояли едва различимые буки.

Наверху, у самой линии, спокойно стоял Соловьев.

— Кого ты тут искал? — спросил я, подъезжая.

— Нашел уже! — отвечал он бодро.

— Кого?

— Да вон бутыль со шнапсом.

— А перебежчиков больше не было?

— Был еще один, да ушел на ту сторону.

— Слушай, Соловьев, тебе бы только в справочном бюро работать: ты бы всем успевал ответить на вопросы, но никто бы ничего не понял. Рассказывай по порядку!

— Ну, тащили эти двое тележку, а мы залегли вон там и ждали… Только они поравнялись с нами — мы выскочили. Вот и все. Один схватил с тележки бутыль и побежал к линии, Таранчик побежал за ним, а он бросил бутыль да и махнул под проволоку. Потом Таранчик побежал вот за этим, которого сейчас ловили…

— А ты где был в это время?

— Он, товарищ лейтенант, портянки сушил, — отозвался вдруг снизу Таранчик. Он, оказывается, сходил вниз, разыскал там налетевшую на камень тележку с бочкой и теперь конвоировал задержанного, впряженного в возок. И тут стало понятно, почему Соловьев, обычно разговорчивый, теперь неохотно отвечал на вопросы. Он знал, что Таранчик будет над ним потешаться, сколько ему вздумается. Он бы, пожалуй, лучше согласился на внеочередной наряд, только бы уйти от едких насмешек Таранчика.

— Я за тем погнался, а он, дьявол, — шмыг под проволоку, — продолжал Таранчик. — Думаю, сейчас поймаю: если на

проволоку полезет — подвесится. А он, скаженный, бутылку бросил и под проволоку! Там, оказывается, две проволоки раньше отцеплены были. Оглянулся — Соловушка мой лежит вверх ногами: вот этот ему ножку подставил и — тягу!

— Так вы ждали что ли эту пару сюда?

— А как же! Помните, вам Фролов докладывал? При каждой смене поста передавали друг другу про них.

Я вспомнил, что об этих контрабандистах действительно говорили, но в последние дни за множеством дел упустил из виду этот разговор.

— Ведь они что делали, разбойники! Договорятся с какой-нибудь группой перебежчиков, укажут им место подальше от дороги: вон там, мол, идите, раз у вас багажа нету, а уж если спокойно обойдется, тогда и мы с телегой двинемся. А сами в темноте на дорогу выйдут, подъедут поближе и смотрят; как только пост займется этими перебежчиками, контрабандисты — под проволоку со своей телегой. Три раза так-то уже пролазили только туда, да обратно — два. Прямо график движения наладили…

— Что ж им помешало сегодня?

— На этот раз мы не клюнули на ихних живчиков. Они нашли двух старух и послали их вон туда, налево. А мы лежим. Они думали, что мы ушли в сторону третьего поста, и поперли прямо на нас…

— Все это хорошо! А только поступили вы не совсем правильно. Вы ведь не знаете, что это были за старухи. Возможно, пропустили что-нибудь более ценное, чем эта бочка пива вместе с ее хозяином.

— Может, оно и так, да что делать: Соловушка мой — плохой помощник. За теми бросишься — этих упустишь. Ведь в прошлые разы их упускали, а задерживали всегда каких-нибудь калек. Это они подсунули тогда Шпигеля за цветочками да за бабочками, нахвалили ему места… Не хочется больше клевать на таких Шпигелей.

— Не буду вам мешать. Занимайтесь своим делом, а мы с господином коммерсантом двинемся в путь, чтобы он вас не связывал. За телегой сейчас кого-нибудь пришлю.

— Да пусть сам везет: тут под гору, один управится — здоровый, жеребец. Еще ребят беспокоить из-за него, — посоветовал Таранчик.

Это было благоразумно, и мы отправились на заставу вместе с грузом контрабандистов.

Стоит заметить, что с продовольственными товарами в Восточной Германии дело обстояло намного лучше, чем в

Западной, зато промышленные товары, особенно запасные части к машинам, легче было достать в английской и американской зонах: Рур и другие промышленные центры оставались там. Этой-то особенностью, сложившейся после раздела Германии, и пользовались контрабандисты, наживаясь на продаже дефицитных товаров.

## *2*

Торжественное открытие линии было назначено на двенадцать часов, но уже после десяти по дороге к первому посту потянулись жители Блюменберга группами и в одиночку. Некоторые целыми семьями ехали на украшенных повозках, запряженных лошадьми или волами. Другие шли пешком или ехали на мотоциклах и велосипедах. Лимузин Пельцмана стоял на обочине дороги, а его владелец прохаживался около проволочного забора и успевал разговаривать с людьми по ту и по эту сторону проволоки.

Хозяев, имевших прямое отношение к земле, перерезанной линией, было немного; основная масса жителей деревни двигалась туда просто ради любопытства или за тем, чтобы встретить кого-нибудь из родственников или знакомых с той стороны. Сюда же пришли многие из солдат, свободные от службы.

В половине двенадцатого из деревни вышла небольшая колонна, украшенная транспарантами и лозунгами. Девушки с венками на головах несли вилы, грабли и косы. За колонной двигалось несколько повозок в праздничном убранстве. Вел эту немногочисленную колонну сам бургомистр Карл Редер.

К этому времени с противоположной стороны демаркационной линии тоже собралось много народа. Молодежь шутила и развлекалась в ожидании назначенного часа. Те, что постарше, встречались с родственниками и знакомыми из Либедорфа, протягивали друг другу между проволокой руки.

Две молодые женщины, взявшись за руки, торопливо рассказывали новости, перебивая друг друга, громко смеялись. У них не было секретов. Женщины порывались обнять друг друга, но мешала колючая проволока.

Два старичка в рабочих кепках, отойдя подальше от толпы, остановились у столба. Старик с английской зоны, приставив ладонь ко рту, горячо и убежденно говорил что-то старику с нашей стороны. А тот, прильнув ухом к самой проволоке, глубокомысленно почесывал затылок.

С разных сторон доносились отрывки фраз, из которых нетрудно было заключить, что собеседников особенно интересует отношение оккупационных войск к населению. Я слушал эти разговоры и был спокоен за честь своей армии. Как-то вдруг по-новому осознал сущность нашего пребывания в Германии. Мы не только охраняли линию, но самим присутствием помогли им узнать правду о советском человеке, которого их столько лет учили ненавидеть.

Между тем назначенный час приближался, люди, собравшиеся здесь, были возбуждены и поминутно спрашивали, не пора ли приступить к делу. Последние минуты тянулись долго, и только за пять минут до назначенного времени к толпе собравшихся на той стороне подкатила военная машина, из которой вышел Чарльз Верн.

Он прошел к проволоке и приветствовал всех присутствующих по-граждански, поклонами. Карл Редер произнес речь, в которой призывал немцев не злоупотреблять правом перехода через линию, предоставленным союзным командованием, а пользоваться им только для обработки своей земли. Опасаясь Чарльза Верна, он в своей речи только намекнул на объединение раздробленной Германии.

Сказал свое слово и бургомистр из Либедорфа. Он также просил не нарушать порядка, беспрекословно подчиняться властям и, лучше зная английского капитана, сказал то, о чем побоялся сказать Редер.

— Мы терпим кару за то, что позволили фашистам обмануть себя. Мы помогали им порабощать другие народы и государства, хотя далеко не все соглашались с этим в душе.

Братья немцы! Теперь мы получили хороший урок от хозяйничания фашистов; будем же бороться за единую свободную Германию без фашистов!

Чарльз Верн, внимательно слушавший краткую речь бургомистра, первый хлопнул в ладоши. Этого хлопка оказалось достаточно, чтобы разразилась буря аплодисментов и одобрительных возгласов.

В этом гуле чувствовалось слияние не только голосов, но и сердец людей, собравшихся здесь. Но толпу разделял, словно в насмешку над людьми, все тот же убогий забор из колючей проволоки. И казалось: вот двинется людская лавина, сметет эти ненавистные колья и уже никогда никому не даст обмануть себя.

Наконец исполнилось ровно двенадцать, и Земельный, вооружившись саперными ножницами, подошел к забору и начал резать проволоку. Гул толпы, несколько уже утихшей, возник с новой силой. Люди с обеих сторон двинулись к середине.

Не успел Земельный перерезать нижней проволоки, как за столбы, стоявшие прямо на дороге, ухватились сразу по нескольку дюжих мужчин и юношей. Столбы вырвали из земли и вместе с проволокой отбросили с дороги за кювет. Обе толпы хлынули навстречу друг другу.

Чарльз Верн, пробравшись на нашу сторону, подошел ко мне и крепко пожал руку. Он был весел и необычайно возбужден.

Те из крестьян, кто пришел лишь для того, чтоб встретиться со своими родственниками или знакомыми, продолжали оживленно беседовать, а хозяева земельных участков поспешили побывать на них.

Один крестьянин из Либедорфа вошел в густой клевер у самой избушки, называемой нами караульным помещением и, сняв с плеча украшенную и отбитую косу, сильными взмахами жадно начал косить клевер. К нему подошли несколько других крестьян, говоря, что клевер принадлежит тому, кто его сеял, но косарь отвечал: «На моей земле — мой клевер!» — и продолжал свою работу.

Один из присутствующих, видимо, хозяин клевера, ухватил косевище. Косарь, вырвавшись, замахнулся на него косой, и только вмешательство обоих бургомистров и других немцев заставило крестьянина прекратить работу. Выяснилось, что на той стороне ему достался жалкий клочок, который не мог удовлетворить и четверти потребностей его семьи. А на земле, занятой клевером, теперь можно было получить урожай только к следующей осени.

Новые и старые хозяева земли встретились попарно и стали окончательно договариваться между собою о частностях. На вытоптанной полосе по ту сторону линии собралось несколько человек. Они что-то возмущенно говорили, спорили и временами указывали в нашу сторону. Чарльз Верн, чувствуя, что речь идет о неблаговидных действиях его сослуживцев, смутился и пригласил меня проехать вместе с ним к другому пункту открытия линии. Его веселое настроение как рукой сняло.

— Вы не пострадаете за то, что слишком близко сходитесь с русским офицером? — спросил я.

Капитан махнул рукой и увлек меня за рукав к машине.

— А ведь эти обиженные люди вправе считать меня соучастником их разорения, потому что я ношу такую же форму, да еще офицерскую, — уже в машине со вздохом сказал Верн.

Заехав в Либедорф, мы попали на дорогу, идущую на участок капитана Чалова, и по ней отправились туда. Не более чем через пятнадцать минут мы подъехали к линии. Майор Ра стоял в стороне от всех, за кюветом дороги, и угрюмо глядел на

происходящее, похлопывая по ноге стеком.

Увидев нас, Ра сказал что-то капитану Верну, ни на кого не глядя, прошел к своей машине и уехал.

Чалов рассказал нам, что здесь при открытии линии, как и на нашем участке, люди ликовали, бургомистр с советской зоны не постеснялся присутствия представителя английской оккупационной армии и откровенно высказал все, что думал о судьбе Германии.

А тут еще Чалов напомнил ему, что кататься вдоль линии на танках теперь не придется. Это явно пришлось не по вкусу господину Ра. За все время церемонии открытия линии он так и не сошел со своего места за кюветом.

Чалов даже пожалел майора:

— Терзался, бедняга, чуть не час. Теперь на неделю сляжет в постель от нервного потрясения. Расчувствовался, так сказать.

— Хорошо, если сляжет, — ответил Верн, невесело усмехнувшись, — хуже всего, если это потрясение будет продолжаться. Тогда и немцам достанется, и солдатам, да и офицеров не обойдет.

На дороге по обе стороны линии группами толпились немцы. Многие из них расходились по домам. Впечатление, оставленное майором, тяготило всех, и мы скоро, разъехались.

## *3*

Однажды, скрываясь от жаркого августовского солнца, мы лежали в саду. Карпов и Журавлев ходили со шлангами между длинных грядок клубники, обильно поливая ее. Журавлев разделся по пояс и в этом виде еще больше напоминал суслика. Короткими толстыми руками он держал наконечник шланга, время от времени направляя струю на тонкие кустистые деревца черешен и вишен. На пыльных листьях вода рассылалась ртутными шариками и, сверкая, скатывалась. Иногда холодные брызги обдавали нас, но даже это не вносило особенного оживления.

Беседы не получалось.

— Хоть бы ты, Таранчик, соврал что-нибудь, что ли, — попросил Земельный.

— Ишь, чего придумал — врать, — отозвался из-за яблони Таранчик. — Что я вам, враль какой, что ли?

— Ну, так правду сбреши.

— Чего мне врать? Мне и правды не пересказать, пока служу: скоро демобилизация. Вместе, что ли, домой-то поедем?

— Конечно, вместе. Только, если ты не сбреешь свои подлые усы, я с тобой не поеду. Тебя такого и Дуня не признает. Встретитесь — девушку надо ж приласкать, поцеловать, а ты к ней полезешь со своими усищами. Да хоть бы усы были, как усы. Тьфу! Чертополох какой-то.

Таранчик, готовясь к демобилизации, начал отращивать усы. Но росли они у него плохо, топырились серыми кустиками и служили предметом шуток.

— Дуня тут ни к чему, — возразил Таранчик, — у нее своя жизнь… Теперь своя семья…

— А что правда, Таранчик, что Дуня твоя замуж вышла? — серьезно поинтересовался я.

Он замялся.

— Брешет он, товарищ лейтенант! — беспощадно разоблачал его Митя Колесник. — Я ж вам говорил еще тогда, что точно знаю: брешет. Он и сейчас от нее чуть не каждый день получает письма. Я ж ее почерк хорошо знаю!

— Ну, а если так, то зачем же смеяться над своими чувствами и над чувствами девушки, хотя бы за глаза. Для шуток можно найти и другие темы.

— Ох, и виноват же я перед своей Дуней, — взмолился Таранчик. — Потешался над ней, а ведь это — что за девушка! Она в Сибирь уехала, на стройку. Ждет… Как демобилизуюсь, тоже к ней поеду туда…

— Так что же тебя заставило наговорить про нее всяких небылиц?

— Когда я узнал, за какое письмо заставил плясать Карпова, так готов был сквозь землю провалиться. Вот и надумал тогда сдуру показать, что Таранчик никогда не унывает, ему, дескать, все равно.

— Глупо же ты надумал, — вздохнул Карпов. Они с Журавлевым свернули шланги, положили их и прилегли возле нашего кружка.

— Знаю, что глупо. Мать в детстве всегда мне говорила, что игра не доводит до добра… Сколько раз я клялся себе, что буду, как все, серьезным, да нет, видно, шутом меня мама-то родила.

— Слышала бы Дуня, что ты тут про нее плел, так и близко до себя не подпустила б, — перебил его Земельный. — И усы бы не помогли.

— И чего тебе усы помешали? Да ты знаешь, на что способный человек, если он приверженность к усам имеет?

Прибыл к нам в госпиталь в Великих Луках один дядька, по прозванию Ворчун, за то, что много ворчал, так его и прозвали. Ну, известно, как попадешь в этакое заведение, уж там начисто

забреют. Всего побрили: и голову, и бороду, а усы, говорит, не дам. Хоть брови, говорит, брейте, — слова не скажу, а с усов ни единого волоса не дам — и точка! И сестры его уговаривали, и врачи — не поддается. До начальника госпиталя дошло, тот на него: «Приказываю!» А Ворчун говорит: «Вы прикажите лучше голову мне снять, а насчет усов — бесполезно». Так и отступились…

Привели его к нам в палату и положили на койку у самой двери. А в палате-то восемнадцать человек лежало, сильно тяжелых не было. Вот мы и развлекались от скуки по-всякому: то в домино, то в шашки играем да спорим, то книги вслух читаем, то сказки рассказываем…

— Ты, конечно, больше всех лясы точил, — вставил Митя Колесник.

— Понятно, что больше. А кто же будет рассказывать, если не я?.. Отбой, все спят, а мы рассказываем. А Ворчун на нас ворчит, ругается. Никак его не могли убедить, что не можем мы быть такими же солидными, как он. У нас почти все молодежь была.

Весной на окошках пташек кормили, так он окна открывать запретил. Не послушаемся мы его — врачу пожалуется. Он на всех жаловался: и на сестер, и на врачей — такой уж нудный человек был. Вот и стали мы придумывать, чем бы ему насолить.

Легли один раз отдыхать после обеда (Ворчун выполнял распорядок точно), а у меня к этому времени рассказ хороший был приготовлен. Я рассказываю, все смеются, а Ворчун из себя выходит и правый ус крутит. Это у него привычка была: как осердится — правый ус крутить. Не вытерпел он, взял колокольчик, вызвал сестру и нажаловался. Мы, понятно, притихли, а он успокоился и заснул. Дрыхнет, непутевый человек, да храпит, усищи рыжие на толстой губе так и подпрыгивают: х-рр, х-рр, х-х-ррр! — Таранчик выразительно показал, как храпел Ворчун. — Был у меня дружок, Федя Лаптев. Мы с ним все вместе делали. Сбегал он в сестерскую, принес ножницы, присел на колени к ворчуновой койке и — тяп! — да так ловко отхватил правый ус, что Ворчун и не слыхал. Прыгает у него, торчит, как у таракана, один левый ус, а правый в целости лежит на тумбочке. Федя мой залез под одеяло и не дышит там.

От нашего грохота проснулся Ворчун. Сел на койке и потянулся было за правым усом, потому что уже сердился, — хвать! — уса нет. Поперхнулся и сказать ничего не смог, глаза у него так и полезли на лоб.

На шум в палату прибежала дежурная сестра, хотела ругаться, да как глянула на Ворчуна, так сразу и убежала обратно.

— Врешь ты, Таранчик, — заметил Митя. — Если взаправду такое было, то ус отрезал ты сам и никакой не Федя.

— Ну, хоть и сам, какая разница?

— А что, Ворчун не надавал вам костылем по шее? — справился Журавлев.

— Понимаете: нет. Посмотрел он на нас, вздохнул, да так горько, и говорит: «Видать, здорово ж я вам насолил, коли за усы принялись, сук-кины дети!» Отстригнул второй ус, сложил обе половины, завернул в бумажку (аккуратненько завернул) и спрятал в тумбочку. А нам сказал: «Дураки, говорит, вы. Я жене зарок дал — не снимать усов, пока вернусь. Эх, говорит, головы. Упредили б раньше, что собираетесь усы резать, я б вам — хоть на головах ходите — ничего б не сказал».

— Хорошо, что рассказал про Ворчуна, — сказал Земельный, — теперь и мы будем знать, что с твоими усами делать, когда насолишь добре.

— Так я ж не все рассказал. Вы еще не знаете, что сделал Ворчун, когда жене писал письмо. Вот смеху было! В другой раз не захочешь усов резать.

Таранчик замолчал и не собирался продолжать рассказа.

— Ну, так чего ж ты?

— Э-э, нет, хлопчики, этого я вам до самого отъезда не расскажу, а то много знать будете…

— Товарищ лейтенант, — крикнул от подъезда Фролов, — вас вызывают на первый пост. Там англичане опять пожаловали, что ли…

Я оседлал Орла и поехал к линии. Около первого поста стояла легковая машина, по асфальту прохаживались двое англичан. В одном из них, маленьком и щуплом, я сразу узнал Чарльза Верна; второй был высок и широкоплеч. Такого я здесь не встречал. Подъехав ближе, я был поражен видом капитана Верна. Он еще больше сжался, сделался бледнее, под глазами легли глубокие складки; кончик острого носа покраснел. Незнакомец стоял с надменным видом, правая рука его была забинтована и подвязана.

Привязав у избушки коня, я подошел к ним. Чарльз Верн, поздоровавшись, познакомил меня со своим спутником, тоже капитаном. Тот с особенным усердием встряхнул мою руку левой и сделал шаг назад. В этом пожатии чувствовалась недюжинная сила.

— Знакомьтесь ближе, — продолжал Верн, — это новый начальник штаба нашей батареи.

— Как — новый, а вы?

— Еду в отпуск, — загадочно улыбнулся мне Верн. — Через

двенадцать часов буду в Лондоне.

Я заподозрил в этом что-то неладное и стоял в замешательстве.

— Вы не стесняйтесь, говорите свободно: этот парень совершенно не понимает по-немецки. — Верн легонько кивнул головой в сторону нового начальника штаба. — Только поменьше жестов и выразительности на лице. Насчет перевода не беспокойтесь: что бы вы ни сказали, я переведу ему как надо…

Я почувствовал себя свободнее.

— Ну, что ж, тогда для начала закурим. У нас в России при встречах всегда сначала закуривают из одного кисета или портсигара. — Я достал коробку папирос и предложил начальнику штаба. Он взял папиросу, небрежно сунул ее в угол большого рта и заложил руку назад, дожидаясь огня. Чарльз Верн потянулся к коробке и тоже взял папиросу.

— Вы знаете, что я не курю, но это на память. Хорошо?

Дальше все пошло как нельзя лучше. Мы разговаривали свободно обо всем, Чарльз Верн время от времени что-то переводил своему преемнику, тот удовлетворенно скалил зубы.

— Вот преподнесли мне отпуск, которого я не просил и не ждал, — продолжал Верн. — Но вы, очевидно, догадываетесь, что это за отпуск, если на мое место уже приехал другой человек. Майор довольно ясно намекнул мне, что знает о моих «шашнях с русскими»…

— И все-таки вы решились приехать еще раз, да к тому же с «хвостом».

— Море от одной капли не прибудет. Да и «хвост», как видите, не мешает, даже наоборот.

— А что у него с рукой?

Верн перевел этот вопрос дословно, и новый капитан, словно дождавшись, наконец, настоящего вопроса, приподнял перевязанную руку здоровой и начал горячо объяснять что-то.

— Он говорит, что купался, нырял и сломал руку. Он же пловец-спортсмен. Говорит, что в тридцать шестом году был в Москве на соревнованиях по плаванию… А ну его к дьяволу, он готов целый час хвастаться. Время идет и, как ни жаль, пора ехать.

Верн тяжело вздохнул и протянул руку. Я обшарил свои карманы, но ничего не нашел, кроме коробки с папиросами. Я зашел в избушку, взял у Жизенского авторучку и написал на крышке коробки с внутренней стороны:

«Чарльзу Верну от Михаила.
Простые люди России и Англии никогда не были

врагами, зато друзьями могут быть хорошими».

Выйдя из избушки, я увидел, что новый капитан сидит уже в машине, а Верн нетерпеливо топчется на дороге. Он принял коробку, поискал в своих карманах и, ничего не найдя, сказал:

— До свидания! Знайте, что Чарльз Верн уезжает в Англию не тем, кем он приехал оттуда.

Они уехали.

Проводив их взглядом почти до деревни, я сел на коня и тихонько поехал на заставу. Не успел отъехать от линии и полкилометра, как меня догнал английский мотоциклист. На заднем сиденье с ним ехал сержант Жизенский. Объехав меня, они остановились.

— Вот, дьявол, какой преданный! — сказал Жизенский, не вставая с сиденья и удерживая равновесие мотоцикла ногами. — Везет вам пачку сигарет. Я ему говорю: давай нам ее, мы передадим, а он маячит, говорит, что ему приказано передать самому лейтенанту.

— Приказ есть приказ, — пошутил я.

Английский мотоциклист, очень похожий на восклицательный знак, в огромной каске, коротенькой куртке и сапогах-ботинках, зашнурованных почти до колен, подошел ко мне и, бойко козырнув, подал коробку английских сигарет, на которой было начертано по-немецки:

«Михаилу от Чарльза.
Россия для меня больше не загадочна».

## *4*

В середине августа все чаще стали слышаться среди солдат разговоры о демобилизации очередных возрастов. Одни начали оживленную переписку с родными, другие загрустили: у некоторых не было семьи, и они не знали, куда ехать после демобилизации. Друзья-солдаты наперебой приглашали к себе и обещали дальнейшую судьбу делить пополам.

Таранчик гоголем ходил по заставе, накручивая свои темно-русые уже большие усы. Его лицо казалось теперь серьезным. Он неустанно рассказывал всем, что в Донбасс, к родителям, он заедет только погостить, а потом отправится в Сибирь, к Дуне, что об этом они вполне уже договорились, и ничто не может помешать им.

Таранчик настойчиво приглашал с собой Соловьева, который ходил в последние дни, словно в воду опущенный. Он и раньше

сетовал, что не может найти никого из родственников, которых у него под Смоленском было когда-то немало.

— Летим со мной, Соловушка, — говорил Таранчик. — А через Смоленск поедем — авось, найдем кого-нибудь из твоей родни, либо хороший знакомый встретится.

Но Соловьев отмалчивался.

— Ему и тут надоели твои шутки, да еще после демобилизации мучить будешь, — возражал Фролов. — Поедем, Соловушка, лучше со мной в Саратов. Там тебе и к родне будет поближе, и жить у нас будет спокойно. Папа у меня инженер, он поможет устроиться на работу, получить специальность.

— У меня отец — шахтер. Теперь уж на пенсии. Пенсия у него хорошая. А я думаю, и без нянек устроиться можно неплохо. Так я говорю, хлопцы? — не уступал Таранчик. — Нет, Соловушка, со мной не пропадешь. А что шутки, их и покинуть можно.

Так солдаты часто разговаривали во дворе перед вечером, размышляя о будущем. Меня тоже не покидала мысль об отпуске. Приближавшаяся зима не радовала, ибо прошлая зима, проведенная в Германии, была очень теплая, снега почти не видели. Он выпадал и тут же или через несколько дней таял, оставляя после себя слякоть.

А что же это за зима, коли нет ни мороза, ни снега! Соскучился я по крепким морозам, по снежным просторам, по высоким сугробам. Хотелось окунуться в них, чтобы снова почувствовать себя настоящим уральцем.

Но мечтать приходилось редко: не было на это времени.

Однажды Карл Редер, по-стариковски сутулясь, вбежал ко мне, размахивая клочком бумаги.

— Вот, — сказал он, — читайте! Здесь благодарят вас за Шмерке, через него удалось выловить большую группу шпионов. Сам он взят на месте преступления, но полицейское управление просит вас помочь задержать двоих, которым удалось убежать сегодня, два часа назад…

— Но ведь они побегут не обязательно на ту сторону. Они могут скрываться и на территории нашей зоны.

— Нет, вероятнее всего, побегут туда, потому что провалилась вся группа, задержаны все, кто хоть как-то был связан с ними.

— В таком случае они могут перейти линию в любом месте, а не только у нас.

— Сообщено всюду. Но скорее всего они пойдут именно здесь, потому что тут ближе всего к линии, а им надо как можно скорее попасть на ту сторону. Тем более, что один из них хорошо знает здешние места. Это как раз тот субъект, который пускал

через линию собак.

— Все это хорошо, дорогой дедушка, но кого же мы будем все-таки ловить? Правда, задерживать надлежит всех, кто пытается перейти линию, однако, вы знаете, что переходят ее очень и очень разные люди. Не скажете ли вы что-нибудь поточнее?

Редер звонко хлопнул себя по лысине и еще больше оживился.

— Вот старая лоханка! Меня же просили передать все, что о них известно и что мне сообщили. Оба — не старше тридцати лет. Один высокого, другой среднего роста. Высокий — рыжий, а второй — шатен, у маленького на правом виске — большая бородавка…

Редер замялся. Все это он сказал очень быстро, словно собирался перечислить несметное множество примет. Но, сказав о бородавке, он почесал за ухом и развел руками.

— Ну, вот, кажется, и все!

— Не так уж много.

— Маловато, — признался Редер. — А что же больше скажешь? Фамилии, говорят, не имеют значения, потому что их у каждого по дюжине, да мне их и не назвали. Одежда и вовсе не может служить приметой… Что же я еще скажу?

Редер закурил предложенную сигарету, заложил руку за жилет и бойко бегал по комнате, словно показывая этим, что его миссия окончена. Он хотел досуха протереть лысину, но платок промок, а лысина все еще блестела от пота.

— Значит, ловить всех рыжих и черных с бородавкой? — спросил я у Редера, после некоторого молчания.

— Вот именно, — засмеялся он. — Ловите, а я — человек гражданский. Мне велели передать — я передал, а дальше уже ваше дело.

Видя, что, при всем желании, старик ничего не сможет добавить к сказанному, я распрощался с ним и постарался принять меры для более надежной охраны линии.

До наступления темноты оставалось часа четыре, но медлить нельзя было ни минуты, потому что часа через полтора-два хорошей ходьбы эти молодчики могли оказаться в нашем районе, если они действительно думали совершить переход линии здесь. И еще хуже, если им удалось подъехать на попутной машине. В этом случае они теперь могли быть на линии или уже перешли ее.

На линии были выставлены тщательно замаскированные дополнительные секреты. Солдаты, подробно проинструктированные, отправлялись на свои места незаметно, поодиночке. День выдался на диво спокойный: за целые сутки не

появилось на заставе ни одного задержанного. В течение этого времени не было ни одной попытки перехода через линию ни с нашей, ни с противоположной стороны.

На заставе, кроме повара, дежурного телефониста, часовых и их сменщиков, никого не осталось. Однако и на линии солдат не было видно. Все они разместились в укромных местах и напряженно следили за местностью. Оживление царило только вначале, потом, когда люди часа три просидели в укрытиях, возбуждение постепенно улеглось.

Умеренный ветер, весь день игравший ржаными колосьями, к закату солнца притих совершенно, и наступила полнейшая тишь.

Я пребывал в томительном ожидании каких-либо вестей с постов, но их не было. Нетерпение заставляло часто справляться по телефону на соседних заставах, не обнаружили ли там тех, кого ждали и мы. Но утвердительных ответов не получал.

Ужин внес некоторое оживление в это монотонное ожидание. В сумерках, соблюдая строгую очередность, солдаты по одному приходили на ужин и, подкрепившись, возвращались на свои места. С вечера, часов до двенадцати, из-за холма неярко светил серп луны. С наступлением полнейшей темноты, изнуряющее ожидание сделалось невыносимым.

Рассудив, что на заставе делать нечего, я отправился на линию. После духоты прокуренной комнаты, ночная свежесть поля была особенно приятна: она навевала бодрость и спокойствие. Опешить было некуда. Тишина стояла такая, что даже шуршание выгоревшей травы от моих шагов казалось подобным грохоту железной крыши. Я поднимался в гору к четвертому посту, на котором находились Фролов и Карпов.

Кроме основного пароля, у мае назначался еще свой, дополнительный, которым я пользовался при обходе постов. Это было удобно в тех случаях, когда на посту обнаруживали приближающегося издали, на слух. На расстоянии называть пароль нельзя, выполнять формальности и шуметь — нежелательно. А второй пароль позволял узнавать своих на расстоянии, даже не видя их. В тот памятный день дополнительным паролем был короткий свист суслика.

Клевер по левую сторону дороги был убран, и земля вспахана. Я свернул на пахоту и, осторожно ступая по мягкой почве, почти перестал слышать шум своих шагов.

Как ни бесшумна была моя поступь, как ни черна была ночь, все же в полусотне метрах от линии мое присутствие было обнаружено.

Фролов и Карпов лежали метров за двадцать друг от друга, причем, Фролов лежал головой на северо-восток, а Карпов — на

северо-запад. Фролов поместился в небольшой выемке и сверху забросал себя травой, так что в темноте он был совсем незаметен.

— Знаете, даже глазам больно, и в ушах стучит, — пожаловался он. — Кажется этой ночи конца не будет… Фролов сообщил, что сосед слева тоже увеличил число постов, и крайний из них находился совсем близко. Минут пятнадцать назад на их участке был шум. По цепи прошел слух, что кто-то задержан, но кто — неизвестно.

Карпов очень удобно устроился в борозде, которую он прикрыл сверху сухими стеблями, и мог в своем убежище поворачиваться, как угодно.

— Шли бы вы, товарищ лейтенант, домой, — шептал Карпов, — тут и нам-то нечего делать. Видать, обошли они нас. А может, где в другом месте влипли…

— Гадать не будем, вот так придется смотреть и слушать до тех пор, пока узнаем точно, где они. Не провалились же они сквозь землю. В конце концов, если им удастся перебраться на ту сторону, то об этом тоже будет известно.

Карпов начал шептать еще что-то, но я уже не слышал его, направляясь на восток вдоль линии, по скату холма. Почти к самой проволоке придвинулась стена невысокой, но очень густой ржи. Здесь, несмотря на хлеба, легче было следить за любым передвижением, так как спелые колосья выдавали бы его своим шумом.

Полоса ржи была неширокая. Здесь расположились Жизенский и Колесник. Они засели на краю полосы, надев на головы своеобразные венки, на верхушке которых возвышались колосья. Это давало им возможность наблюдать, не обнаруживая себя. Но в основном, им тоже приходилось полагаться на слух.

Дальше на вспаханной полосе, припав к земле, лежали Таранчик и Соловьев, тоже сравнительно далеко друг от друга.

На открытых местах мне приходилось то склоняться к земле, то ползти, чтобы не выдать, кому не следует, своего присутствия.

— Где их там носит! — шептал Таранчик. — Шли бы, что ли, скорее.

— Если бы я знал, где они, то, кроме обычных постов, здесь бы никого и не было. Это тебе не контрабандисты с пивом да на телеге, — говорил я, отдыхая около него.

Таранчик лежал в глубокой борозде, почти не замаскировавшись, но и так его можно было различить не более чем за десять шагов.

Ниже по склону находился секрет следующей пары: Журавлева и Земельного.

Передвигаясь от поста к посту, от секрета к секрету, то

согнувшись, то на четвереньках, то по-пластунски, я изрядно устал. От чрезмерного напряжения в мышцах рук и ног ощущалась ноющая боль.

К этому времени небо на востоке чуть-чуть посерело, хотя было еще очень темно.

Отдохнув минут десять около Журавлева, я двинулся дальше, но не успел отползти и пятнадцати саженей, как сзади услышал крик Таранчика: «Вот они-и!!».

…Таранчик заметил, что по кромке пахоты кто-то ползет. Не двигаясь с места, он издал короткий свист суслика. Ответа не получил. Помедлив немного, он различил, что темное пятно довольно быстро приближается. Решил подпустить ближе и… Едва он обнаружил себя, поднялись две фигуры, высокая и поменьше, и бросились к нему.

Меньший из бегущих с силой бросил в Таранчика нож с короткого расстояния и угодил ему в левую половину груди. В это время и крикнул Таранчик. Соловьев сзади оседлал нападающего и, захватив его шею обеими руками, душил изо всех сил. А тот, стараясь освободиться, шаг за шагом двигался к проволоке. Когда я подбежал к месту происшествия, исход дела был уже предрешен.

Жизенский и Соловьев связали пойманного. Земельный, Колесник и Журавлев сняли с проволочного забора второго перебежчика, оборонявшегося ножом. Журавлев выбил прикладом нож из его руки, и перебежчика тут же связали.

Мы подошли к Таранчику. Кто-то засветил фонарь. Таранчик лежал, широко раскинув руки, с неестественно подвернутой ногой. Лицо было бледно и сурово, усы казались темнее, чем обычно. Земельный выдернул нож из его груди, и на этом месте начала выступать густая черная масса. Это словно привело людей в себя.

Земельный, как ужаленный, обернулся к убийце, издал какой-то страшный вопль и бросился на него.

— Земельный! — закричал я. — Не трогать!

Но он уже был невменяем. Он пинал и пинал убийцу, выкрикивал что-то непонятное. Жизенский и Соловьев пытались его оттащить, но достаточно было Земельному развести руки, как тот и другой полетели в разные стороны. Это на секунду отвлекло его от убийцы. Связанный негромко стонал: «Оу! Оу!».

Но когда Земельный бросился на него с новой силой, задержанный закричал: «А-а-ай!!».

— А-а! З-змеюка! — вскричал Земельный. — Ты р-рус-ский!!!

Мы с Журавлевым схватили Земельного за руки и оттащили в сторону, но он весь трясся и бился в наших руках.

— Кого вы спасаете?! — кричал он. — Кого? Изменника! Убийцу! Вот такая сволочь помогала фашистам с нас шкуры спускать, а вы его защищаете! Расстреливайте меня на месте, — я его живым не отпущу!!

— Да откуда ты знаешь, что он русский? — не то спрашивал, не то уговаривал Журавлев, цепко ухватившись короткими руками за локоть Земельного.

— А ты не слышал, как он заорал «ай»? Меня не проведешь: я эти крики хорошо знаю!

Нам удалось усадить Земельного на траву. Он несколько притих и остепенился.

— Дайте, хлопцы, закурить, — попросил он, — душа сгорает…

Я послал Жизенского снимать дополнительные посты.

— Надо еще разглядеть, то ли самое поймано, — сказал Колесник и с фонарем начал осматривать задержанных. — Точно! Редер правду сказал: вот у этого на виске бородавка, у меньшего.

— Что там глядеть, — возразил Журавлев, — по работе видно!

Некоторые из солдат отошли от задержанных, закурили. Воспользовавшись этим, Земельный снова бросился на убийцу, спрашивая:

— Сознавайсь! Русский, стерва?!

На этот раз удары пришлись, очевидно, по такому месту, что связанный закричал на чистейшем русском языке:

— Русский! Ну! Ру-у-усский!

Солдаты вновь оттащили Земельного, но делали это неохотно. После открытия, сделанного Земельным, этот человек казался еще более гнусным.

Начали подходить солдаты, снятые Жизенским с постов. К тому времени, когда все были собраны к месту происшествия, восток, сделавшись светло-голубым, бросал неяркий свет на мрачные лица солдат, на стоявших в стороне задержанных, на иссиня-бледное лицо Таранчика.

Тело его покоилось на мелкой траве межи, с каждой минутой отходя все дальше от жизни. Плотно сомкнутые посиневшие веки навсегда прикрыли веселые глаза Таранчика.

Солдаты на четырех винтовках осторожно подняли и понесли тело Таранчика на заставу. Сзади Земельный придерживал его голову и неустанно повторял:

— Кого загубили! Кого загубили, звери!

За трупом шел небольшой строй солдат, сзади вели задержанных. Колонна спустилась к первому посту.

Когда мы подходили к деревне, с востока полились розовые

лучи. Все вокруг ожило. Из деревни навстречу на одноконной повозке ехал Карл Редер. Этот трудолюбивый старик поднимался на заре и раньше всех выезжал в поле. Увидев труп впереди колонны, он погнал лошадь на обочину дороги, слез с повозки и, сдернув с лысой головы старую шляпу, остановился перед проходящей процессией.

Ничего не сказав и не спросив, Редер пропустил мимо себя идущих, возвратился к лошади, развернул ее назад и зашагал к деревне рядом с повозкой.

Деревенская улица была еще безлюдна.

## *5*

Было около полудня. Гроб с телом Таранчика стоял в ленинской комнате. Солдаты, суровые и молчаливые, заботливо прибирали гроб. Никто в эту ночь не спал, никто не пошел завтракать. Приближалось время обеда, но никто и не подумал об этом. Карл Редер с самого утра пришел к нам. Сняв мерку с покойного, старик ушел заказывать гроб. Временами он появлялся на заставе и снова исчезал. Никто не заставлял его заниматься этими хлопотами, и он ни у кого не спрашивал на то позволения. Все делалось, как само собою разумеющееся.

Часам к двум на заставу начали съезжаться офицеры, хорошо знавшие Таранчика. Вместе с Мартовым и Коробовым приехало несколько солдат и сержантов нашей роты. Приехал командир полка со своим заместителем по политчасти майором Мишкиным.

Более чем за час до выноса тела около заставы собрались многие жители Блюменберга. По их просьбе гроб, обтянутый красной материей, был вынесен во двор и установлен на табуретках, накрытых черным бархатом. Девушки, стоявшие отдельной группой, попросили разрешения положить к гробу цветы. Когда им было разрешено это сделать, появилось столько венков из живых цветов, что они закрыли весь гроб, постамент и легли рядом на мостовую.

— Где они столько цветов набрали? — удивился Мартов.

— Не зря, видать, деревня называется Блюменберг, — пояснил Митя Колесник, — это же по-русски — цветочная гора.

Почетный караул у гроба солдаты несли посменно. Приближался назначенный час.

Могила была приготовлена на вершине холма среди редких буков, там, где располагался четвертый пост. Туда по проселочной дороге и направилась похоронная процессия.

Впереди старшина Чумаков нес бархатную подушечку, на которой покоились орден Славы и три медали. Гроб несли на руках, за ним шел строй вооруженных солдат и офицеров, а в конце двигалась большая группа гражданского населения. Здесь среди женщин и стариков тяжело шатал Пельцман. В самом конце, опустив голову, шел Ганс Шнайдер.

— Как ты сюда попал? — спросил я его.

Ганс несколько смутился.

— Знаете, я всегда бываю в Блюменберге, когда отец дает мне обкатывать мотоциклы после ремонта, только… только приезжать на заставу не смею.

Теперь я вспомнил, что в кармане у меня еще с ночи лежала свернутая пилотка Таранчика.

— Вот, — сказал я, снимая звездочку с пилотки, — возьми…

Ганс погладил звездочку, глаза его часто заморгали, увлажнились, и он отвернулся.

— А папа не будет ругаться, что ты долго здесь пробыл?

— Н-нет… За это не будет ругаться.

На холме, когда гроб был поставлен на черенки лопат, и приготовлен для спуска, майор Мишкин поднялся на холмик земли у края могилы и произнес очень взволнованную речь. Каждое слово его западало в душу, звало к борьбе с фашистской нечистью, напоминало о тяжелых жертвах в этой борьбе.

Лицо Таранчика подернулось уже синевой. Но вот сверху положена красная крышка, и гроб медленно опускается на холодное могильное дно.

Падают горсти земли.

— Прощай, дорогой наш товарищ! — горестно произносит Земельный и берется за лопату.

— Прощай! — тихо повторяют товарищи, словно боясь испугать кого-то.

Девушки и женщины вытирают влажные глаза. Некоторые мужчины отворачиваются. Гулко звучит крышка гроба от первых брошенных комков земли. Но потом этот гул становится все глуше и глуше, и на поверхности вырастает серый холмик. Стоят в немом безмолвии люди, окружившие его. Могильный холмик и памятник укрыты цветами. Высоко в ветвях бука беззаботно посвистывают птицы, над холмом гуляет легкий, еле ощутимый ветерок; резко хлопает троекратный винтовочный залп…

## *6*

Пусто, невесело стало на заставе без Таранчика. Четвертый

пост стал называться его именем, и Таранчик, уже мертвый, как бы служил на этом посту, у самой линии. С помощью Карла Редера и Пельцмана вокруг могилы была поставлена красивая металлическая оградка. Вместо временного деревянного появился железобетонный памятник с граненой медной звездочкой наверху.

Несколько девушек ухаживали за могилой.

Таранчика нет. Но в душе каждого из нас он продолжает жить. Веселые разговоры о демобилизации как-то притихли.

Однажды сержант Жизенский привел на заставу задержанного мальчика лет четырнадцати, заросшего «бурьяном» нечесаных русых волос. Он был в изорванной рубашке и таких же изорванных штанах. На ногах болтались непомерно большие ботинки на резиновой подошве, голова ничем не прикрыта. Когда я спросил у Жизенского, по какой причине задержан мальчик, он вместо ответа, выложил на стол такую же вещь, какую мы обнаружили у Шмерке.

Порывшись в полевой сумке мальчика, Жизенский достал два листа бумаги, исписанные мелким, неразборчивым почерком. В бумаге содержались сведения о количестве войск, находящихся в Магдебурге, Галле, Нордхаузене и еще целом ряде мелких пунктов. В конце второго листа были сведения и о нашей заставе. Эти-то «сведения» едва не заставили меня рассмеяться. И количество солдат, и число постов, и вооружение — все было настолько уродливо преувеличено, что совершенно не вязалось с истиной. Там даже говорилось, что застава оснащена мотоциклами, хотя на самом деле у нас не было ни одного мотоцикла, кроме того, который я брал на время у Редера.

— На этот раз тебе удалось задержать настоящего шпиона, — пошутил я, обращаясь к Жизенскому.

— А чего вы смеетесь: он еще хуже всякого настоящего. Посмотрите, как руки мне ободрал. Кусается, чертенок, царапается, как кошка. Видать, важное задание выполнял, раз так отбивался. Опять связь налаживают.

— Трудно заключить, новые ли это связи налаживаются или старые тянутся.

— Так говорили же, что захватили всю группу…

— Если б это была последняя группа… Ты что же думаешь, в прошлый раз последних поймали, и на земле установлен мир?

Я смутно догадывался о судьбе этого парня, но проверить догадку было не просто.

…Отпустив Жизенского, я подчеркнуто небрежно отодвинул вещи мальчика на край стола, как не имеющие никакого интереса, и спросил его вдруг:

— Как тебя звать, малый?

Мальчик бросил на меня рассеянный косой взгляд, но ничего не ответил. Остренький носик чуть-чуть повернулся в мою сторону (мальчик сидел ко мне боком).

— Ты совсем не хочешь со мной говорить?

Мальчик вызывающе сверкнул в мою сторону черными пылающими глазами. Все лицо его, бледное и худое, выражало немой протест. Он презрительно сплюнул через стиснутые зубы и продолжал молчать.

— Ну, что ж, — сказал я, нахмурившись, — вещественных доказательств достаточно, чтобы тебя отдать под суд… А это может кончиться самым плохим…

— Я на все готов! — выкрикнул мальчик и поднялся со стула.

— О, да ты, видно, честный и смелый парень! — не удержался я от улыбки. — Ну, раз ты на все готов, тогда пойдем со мной обедать.

Это удивило мальчика, и он посмотрел несколько удивленно подозрительным взглядом. Когда я, поднявшись из-за стола, попытался взять его под руку, он резко отдернул руку и пошел впереди, шлепая по лестнице большими башмаками. Вымыв в коридоре руки, мы уселись в столовой за маленький столик друг против друга. Путан принес нам борща и хлебницу, наполненную хлебом.

Я принялся за еду. Мальчик, быстро работая ложкой, жадно ел борщ, но не прикасался к хлебу.

— Почему ты ешь без хлеба?

— А разве можно и мне брать хлеб с этой тарелки?

— Конечно.

— Сколько кусков я могу взять?

— Столько, сколько тебе потребуется. Если окажется мало, еще попросим.

Мальчик опустошил тарелку и с такой же жадностью набросился на котлету, потом выпил стакан компота и устало откинулся на спинку стула. На щеках у мальчика выступил бледный румянец, а беспокойный огонь в глазах потух.

— Ну, и как же прикажешь тебя называть? — шутливо спросил я, но собеседник словно не слышал моих слов. — А вот у нас в Советском Союзе такие мальчики и девочки живут в специальных детских домах. Там их кормят, одевают, они обучаются в школе.

— Какие мальчики и девочки?

— Ну, вот такие, как ты, сироты, у которых нет ни отца, ни матери…

Эта мысль подсказана была мне интуицией, но, высказав ее, я

убедился, что попал точно в цель. Мальчик вскочил со стула, впился в меня вновь запылавшим взором и, выпятив грудь, запальчиво спросил:

— Откуда вам знать, что я сирота? Это неправда! Моя мать — свободная Германия, мой отец… отец…

— Погиб за «свободную Германию», — договорил я.

Отвернувшись от меня, мальчик бессильно опустился на стул и, положив руки на стол, припал к ним лицом. Ни единого слова больше уже не удалось от него услышать. В нем, видимо, начинали бороться противоречивые чувства. Я не хотел мешать его размышлениям и боялся испортить все необдуманным словом. В этом положении и застал нас Чумаков, сообщивший о том, что всем офицерам приказано явиться в штаб полка к пятнадцати часам.

Одно из окон столовой выходило на открытое место в сторону деревни и было распахнуто настежь. Оставив мальчика одного, мы с Чумаковым вышли из столовой в другую комнату, и тут я поведал ему все, что знал и что думал о нашем пленнике. Вернувшись назад минут через пятнадцать, мы нашли мальчика сидящим в той же позе с задумчиво устремленными вдаль глазами. Он не знал, что за этим окном ведется наблюдение, и вполне мог попытаться бежать, но он не воспользовался такой возможностью. Это что-нибудь да значило!

Переложив на Чумакова дальнейшие заботы о мальчике, я начал готовиться к отъезду. Ехать верхом было бы утомительно и долго. Пришлось по телефону договориться с Чаловым, чтобы он заехал за мной на мотоцикле.

Чумаков, взяв у меня денег, отправился к Карлу Редеру с тем, чтобы приобрести с его помощью какую-нибудь одежду для малыша. Мальчика взял к себе повар Путан в помощники. Было решено не докучать ему вопросами, разрешить всюду ходить по заставе, конечно, заботясь о том, чтобы он не убежал.

Заслышав сигнал мотоцикла, я поспешил к выходу. У подъезда встретились Чумаков и Редер. Они несли все, что нужно было, чтобы по-летнему одеть мальчика.

— Ну, где ваш приемыш?

Когда мальчик вышел, старик высоко вскинул лохматые брови и воскликнул:

— О-о! Да этот парень мне знаком! Он дня четыре работал здесь на маслозаводе, а потом сбежал.

— Он не хочет сказать, как его зовут, — сказал Чумаков, обращаясь к Редеру. — Вы не знаете, как его там кликали?

— Кажется, там его называли… Максом.

— Так, что ли? — спросил Чумаков мальчика.

— Так, — ответил тихонько мальчик.

— Примерьте, но не одевайте. Сначала надо помыть его, подстричь, а потом уже одеть, — заметил я и подсел на заднее сиденье мотоцикла к Чалову. Мы поехали.

Немногим больше чем через час мы остановились около штаба полка. В этом же здании, в большом зале, который служил чем-то вроде полкового клуба, собралось уже большинство офицеров. Вскоре на трибуне показалась объемистая фигура полковника Тарутина, или бати, как его неофициально называли в полку еще со времен войны. Волнуясь, он нам рассказал, что с сегодняшней почтой на его имя пришло письмо от колхозников одной белорусской деревни… В письме содержится неприятное известие… Он часто дышал, поминутно глотал воду из стакана, утирал платком губы. В зале стояла напряженная тишина.

— Товарищи! — неестественно громко, но твердо сказал он. — Всем вам известный бывший капитан Горобский… — сделана была значительная пауза, во время которой промелькнули многие догадки. — Горобский оказался подлым изменником Родины… — По залу прокатился неясный шепот. Не было человека, которого бы не ошеломило это известие. А батя бросал слушателям в зал гневные и четкие слова.

— Изменник жил в наших рядах! Он старался вести себя так, чтобы оказаться в числе лучших офицеров полка, чтобы не было никаких подозрений. Он, видимо, хотел загладить свою вину перед советским народом. Он ловко прятался от тех, кому причинил столько зла. Но нельзя скрываться вечно. Теперь никакие заслуги не искупят, не заменят святой крови наших людей, пролитой врагом!

Командир полка прочитал большое письмо, в котором говорилось, что подлинная фамилия этого гитлеровского холуя вовсе не Горобский, а Чахлок.

* * *

До войны Василь Чахлок закончил десять классов и был примечателен разве только своим тщеславием и злопамятством. Отец его где-то безвестно погиб во время гражданской войны в банде Махно. Мать во всем потакала единственному сыну.

В среде ровесников Василь был одиноким. Еще в школе засматривался он на Христину Поддубную, но она только посмеивалась над Василем. Никого не хотела знать Христина, кроме Семена Балигуры.

Началась война. Деревня скоро попала в оккупацию, и

каждому надо было решить вопрос: как жить дальше? Семен, как только появилась возможность, ушел в партизаны. А Василь Чахлок стал полицаем на селе.

Многих земляков выдал он немцам, за что снискал к себе расположение фашистского командования и полное презрение и ненависть своих соотечественников. Погибла от его рук и Христина Поддубная — связная партизанского отряда. Знал Василь, что не простят его партизаны, и убрался из деревни еще до прихода Советской Армии.

Когда же началось всеобщее наступление наших войск, Чахлок понял обреченность фашизма и решил сменить мундир и фамилию. На новом мундире, который Василь снял с убитого советского офицера, было два ордена и погоны лейтенанта. Оставалось любым путем получить ранение и попасть в госпиталь «без сознания». А там — взять направление подальше от той части, где служил погибший, — и воюй себе, на здоровье, бей получше фрицев да приобретай доверие товарищей.

Так рассуждал Чахлок, и так он поступил: прострелил себе ногу, чтобы попасть в госпиталь.

* * *

Поезд сбавил ход, колеса застучали на дальних стрелках станции Брест. Не так уж был спокоен капитан Горобский, как это могло показаться на первый взгляд. Тревога не покидала его с тех пор, как командир полка объявил, что ему разрешается отпуск на родину в числе первых, хотя Горобский не просил и не думал просить отпуска.

Отсутствие заявления Горобского с просьбой об отпуске было принято как скромность с его стороны, потому что в те времена каждый хотел ехать первым. Как ни обдумывал он свое положение заранее, но когда получил отпуск, это все-таки оказалось неожиданным. Когда полк передвинулся к демаркационной линии, Горобский хотел уйти на ту сторону. Но уйти на ту сторону — значит, признаться в своих преступлениях, навсегда остаться в чужой стороне, стать человеком без дела, без дома, а здесь, если умело лавировать, можно оставаться офицером, а со временем уехать так далеко, что и птица туда не долетит из Белоруссии — Советский Союз велик. Была и еще одна затаенная надежда: если разоблачат, просить прощения, ссылаясь на то, что он искупил свою вину службой в Советской Армии.

Горобский взял отпуск на Урал.

— А почему вы не едете домой? — сочувственно спросил его

тогда помощник начальника штаба.

— Там у меня никого не осталось, — сухо ответил Горобский.

…Станция Брест кипела, как муравейник. Все стремились домой, всем надо скорей, и переполненные поезда шли и шли на восток. В вокзале все забито людьми, возле касс — длинные очереди. Горобский встал в очередь к офицерской кассе. В этой кипящей людской массе, он почувствовал себя спокойнее. Здесь человек, что иголка в сене: мелькнул — и не увидишь больше.

Но вот с левой стороны он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Невольно повернул голову. Мелькнули в глубине зала, среди сотен других, чьи-то очень знакомые глаза. И — все. Они сверкнули, как молния; их уже более нет; они остались только в памяти. Но чьи же это глаза?! Он мучительно вспоминал, вглядываясь в лица окружающих его людей, но больше уже не видел этих глаз. Сзади него появилась целая вереница людей, продолживших цепочку очереди.

— Я пойду попью, — сказал Горобский лейтенанту, стоявшему за ним. Долго бродил он между людьми, опасливо поглядывая по сторонам, вышел на улицу, прошелся по перрону, побывал на привокзальной «толкучке». Нет этих глаз он больше не встречал, значит: показалось… Вернулся в вокзал — очередь была уже недалеко от кассы. Когда перед кассой осталось два человека, к Горобскому подошли трое танкистов: пожилой старшина и два молодых сержанта.

— Товарищ капитан, вы не поможете нам закомпостировать билеты? — обратился к нему старшина. — Иначе нам сегодня не уехать.

— Если касса не откажет… Впрочем, давайте билеты, — сейчас Горобский готов был делать добро для всех окружающих, только бы…

— Едем, хлопцы! — вырвалось у одного из сержантов, когда Горобский отходил от кассы. — Пойдем, Костя, простимся с друзьями, — обратился он к другому сержанту, и они скрылись в толпе.

Усатый старшина, лукаво улыбнувшись, посмотрел им вслед и обратился к Горобскому:

— Ну, что ж, товарищ капитан, придется нам подождать здесь: не найдут ведь, если уйдем.

Ждать пришлось недолго. Минут через двадцать сержанты вернулись. С ними пришел Семен Балигура и незнакомый майор, который потребовал у Горобского удостоверение личности…

Больше всего боялся Горобский встретиться со своими земляками. Но в ходе следствия пришлось предстать перед ними. Вот когда и родное село может показаться адом.

* * *

Подавленные известием о Горобском, мы с Чаловым молча ехали домой из штаба полка. Низко стояло солнце; в неубранных кое-где хлебах слышались негромкие птичьи песни; по-осеннему задумчиво стояли редкие рощи. Нескончаемо тянулась серая полоса асфальта, по которой почти бесшумно катился мотоцикл.

— И чего только не бывает на свете! — произнес наконец Чалов. — Ведь я же его знал от самого Буга. Ну, можно ли было подумать!

— А чего тут думать, — возразил я. — Ведь в армии он ничего плохого не делал, наоборот, из кожи лез вон, чтобы показать себя с лучшей стороны.

— Да, — вздохнул Чалов, — не зря он крутился от отпуска, как собака от червей… Много, видать, честной крови на его поганых руках.

Чалов вдруг сунул руку в карман, и оттуда, сверкнув, полетел на дорогу серебряный портсигар. Ударившись об асфальт, он открылся, и сигареты разлетелись из него в разные стороны.

— Это зачем?

— Подарочек! — плюнул Чалов в сторону брошенного портсигара.

## *7*

Возвратившись на заставу, я нашел Макса в ленинской комнате. Он перелистывал газеты и журналы, внимательно разглядывал картинки, не умея прочитать подписи под ними. Макс не походил уже на того мальчика, которого утром привел на заставу Жизенский.

Чисто вымытый и аккуратно подстриженный, он сидел в новой коричневой курточке, из-за воротника которой выглядывала рубашка в полоску, и черных брюках. На ногах теперь были, правда, тоже не дорогие, но как раз по ноге новые брезентовые туфли.

Взглянув на меня, он снова опустил глаза и продолжал разглядывать картинки.

— Как поживаешь, Макс?

Он промолчал, словно не слышал моих слов. Я просмотрел свежую почту и ушел. Солдаты говорили, что Макс за весь день не обмолвился ни словом. Когда его подстригли и вымыли, он был как будто доволен, однако молчал. Он молча со всем соглашался, всем подчинялся. В последующие дни Макс также оставался

замкнутым, обмениваясь лишь незначительными фразами.

Так прошло более недели. Спал Макс в солдатской спальне на койке Таранчика. Утром вставал и бежал вместе со всеми в сад умываться холодной водой по пояс. На маслозаводе нам не удалось узнать больше того, чем сказал о нем Редер.

Как-то под вечер солдаты во дворе увлеклись игрой в городки, а Макс сидел на скамейке у садового забора и смотрел на игру. Митя Колесник не раз приглашал Макса играть, но он отказывался. Когда же Соловьев дважды подряд промахнулся, не тронув ни одного городка в кругу, Макс схватил биту, или шаровку, как у нас ее называют, и так ударил по «пушке», что в кругу осталось только два городка.

— Правильно, Макс, — поддержал Земельный, — давай становись вместо него: больше пользы будет. — Сам он со свистом швырял биты и почти всегда удачно. Если бита Земельного хоть чуть задевала городок, то он далеко вылетал из круга. Журавлев неуклюже закидывал свою короткую руку назад и бросал биту движением, несколько похожим на метание диска, однако получалось у него довольно ловко, и городки всегда выкатывались из круга. Очень красиво играл Карпов. Стоя прямо и выбросив вперед левую ногу, он недалеко заносил биту и резко посылал ее вперед, без промаха сражал фигуру.

Макс не знал правил игры, но ему объяснили, и новый игрок включился в игру. Каждый удачный его удар солдаты встречали одобрительными возгласами, а Макс сдержанно улыбался. Игра разгорячила его, на лице выступил румянец и, когда Путан, выйдя на крыльцо, крикнул своим тяжелым басом: «На ужин!», Макс скорчил недовольную мину и поплелся за всеми в столовую.

Я еще оставался на улице, когда к заставе подкатил на мотоцикле Ганс Шнайдер.

— Долго что-то тебя не было…

— Не на чем было приехать. — ответил Ганс.

— А у нас товарищ для тебя есть…

Меня осенила счастливая мысль. Коротко рассказав Гансу о своих замыслах, я пошел в столовую и привел Макса. Увидев Ганса, он покосился на него и нехотя подал руку, коротко бросив: «Макс».

— Поедем со мной кататься, — сказал Ганс, — я тебя яблоками угощу… У нас виктория есть. Поехали?

Макс вопросительно посмотрел на меня.

— Если хочешь, — поезжай, — сказал я, — только ко сну возвращайся. А если понравится, завтра можно повторить эту прогулку…

Мальчики вскочили на мотоцикл. Ганс пустил его под уклон,

завел на ходу, и они умчались.

Не тая правды, надо сказать, что как только они скрылись за поворотом, меня начали одолевать дурные мысли. То казалось, что они упадут и разобьются (Ганс любит щегольнуть своим лихачеством), то думалось, что попадут под машину. И вероятнее всего, Макс просто мог сбежать. А еще хуже, если при этом пострадает Ганс. Как тогда предстать перед его отцом? Умело действуя, Макс мог избавиться от Ганса и угнать на его мотоцикле. Ганс, правда, был покрепче, но Макс — опытнее.

Словом, в голову лезли десятки комбинаций. Я ходил по двору и жестоко раскаивался, что решился на такой поступок. Время тянулось невыносимо медленно. Прошел час, полтора, два часа. Ребят не было. Меня так и подмывало оседлать Орла и поехать к Шнайдерам, но этим можно было все испортить.

Солдаты после ужина разбрелись кто куда. Одни читали газеты в ленинской комнате, другие вышли с шахматами в сад, третьи, собравшись группой, беседовали.

Как только доносился звук мотоциклетного мотора со стороны деревни, я уходил в сад и с замиранием сердца ждал: сюда или не сюда? Солнце уже скрылось за могилой Таранчика. Я решил ждать еще двадцать минут, и если мальчики не вернутся — ехать на розыски.

Через двадцать минут мальчики не приехали. Я пошел в конюшню, но, отвязывая повод, снова услышал гул мотоцикла. Он быстро приближался и скоро умолк около арки. Привязав коня, я вышел из конюшни, как ни в чем не бывало.

— Ну, как прокатились, ребята?

— Хорошо, — ответил Ганс. — Вы нас извините, господин лейтенант, мы у нас долго пробыли…

— Ладно, все рассказы — потом, а сейчас пошли ужинать. Идемте!

— Нет, господин лейтенант, спасибо: папа велел скорее возвращаться.

— Тогда не смею задерживать. Возвращайся.

Ганс развернул мотоцикл и уже на ходу крикнул:

— До свидания! Завтра постараюсь приехать снова!

Мы с Максом пошли в столовую и разместились за тем же столиком, за которым обедали в первый раз. После стольких напрасных тревог и длительного ожидания, я старательно работал ложкой, а Макс ел вяло и неохотно.

— Почему вы меня ни о чем не спрашиваете? — вдруг спросил он, в упор глядя на меня своими черными глазами.

— О чем же тебя спрашивать, если ты не хочешь говорить? — сказал я, стараясь быть спокойным. — Мы бы и имени твоего не

знали, если бы не старик Редер.

— Имени моего вы и сейчас не знаете, — продолжал мальчик. — Мое настоящее имя не Макс, а Эрих, но не в том дело… Я совершил преступление против вас.

Эрих говорил короткими фразами, словно ожидал возражения на каждое слово.

— Чепуха, — сказал я. — Если говорить о преступлении, то большее преступление ты совершил не перед нами, а перед Гансом, перед Германией, перед самим собой, потому что твое дело — учиться в школе, хорошенько узнать, где живет правда, а уж тогда начинать борьбу. Знать, за что ты борешься… Ведь эти сведения не ты собирал, тебе их дали только унести?

Этот вопрос совершенно обескуражил мальчика. Я уже не сожалел больше о том, что отпустил его на прогулку с Гансом. На своем детском языке мальчики быстрее сумели договориться.

— Так вам и это известно?

— Да. Мне бы только хотелось узнать, где ты научился разговаривать языком взрослого?

И Эрих Разен поведал мне именно то, о чем я догадывался. Его отец погиб на русском фронте, а мать и старшая сестра похоронены были под обломками дома, разрушенного американской бомбой, всего за несколько дней до окончания войны. Эрих остался один и бродил по Западной Германии до тех пор, пока не подобрал его один американский офицер.

Он кормил Эриха и готовил его к шпионской деятельности. Ему дали неплохой костюмчик, и Эрих носил его более полугода. Но когда послали на задание, то снова облачили в старые лохмотья, руководствуясь тем, что русские имеют пристрастие к оборванцам и оказывают им предпочтение перед прочими. До тех пор, пока Эрих сам не увидел русских, он представлял их по описанию своего шефа чуть ли не звероподобными и очень жестокими.

На задании Эрих был впервые. Попавшись на линии, он ожидал допросов и страшных пыток, но, не встретив ничего подобного, взял под сомнение уроки своего шефа, и все эти дни мучился в догадках, не веря в искренность и моих действий. Когда же Ганс рассказал ему о жизни в Восточной Германии, о русских, о гибели Таранчика, показал ему подаренную звезду и выяснилось, что Эрих спит как раз на койке Таранчика, то понял, что был обманут шефом.

— На маслозавод я поступил только за тем, чтобы дождаться вот этого материала, который теперь у вас, и передать аппарат. Но бумаги я взял в условленном месте, а передать аппарат оказалось некому, — закончил Эрих.

Похоже было на то, что он выполнял проверочное задание, и явки были скрыты от него. Правда, наличие аппарата не совсем увязывалось с этим предположением.

Разошлись после беседы далеко за полночь.

Я уже собирался лечь спать, когда затрещал телефон, и из штаба полка передали: «Приготовиться к передаче!» И опять нас ожидали новые места, новые люди, новые обстоятельства.

Готовиться к передаче линии! Не так уж много для этого нужно подготовки. Труднее принимать ее и осваиваться на новом месте.

К полудню приехал Ганс. Он сказал, что его отец согласился временно принять в семью Эриха, если мы его отпустим. Это было как нельзя кстати. Выслушав предложение Ганса, Эрих заметил:

— Еще не знаю, что делать. Ведь за измену меня обещали убить. Наживут еще Шнайдеры со мной горя…

Оставив ребят наедине, я ушел в свою комнату и написал длинное письмо в полицейское управление. В письме излагалось все, что мне было известно об Эрихе, и просьба устроить его дальнейшую жизнь. Когда я вернулся к мальчикам, они все так же сидели, разговаривая, как взрослые.

— Так что же, Эрих, — спросил я, — ты очень боишься смерти, которую тебе обещали на той стороне?

— Нет, — просто ответил он. — Туда я больше не вернусь, надо как-нибудь здесь устраиваться…

— А не съездить ли тебе в полицейское управление и там рассказать обо всем, что с тобой было?

— Поехали, Ганс? — оживился Эрих.

— Нет, подождите. Не к чему торопиться. Сначала давайте пообедаем вместе. А то вот мы с Гансом давненько дружим, но от наших угощений он всегда увертывается. Пошли!

За столом мальчики весело шутили.

После обеда они вышли во двор и уселись на мотоцикл. Я вынес письмо, аппарат и бумаги Эриха и вручил ему.

— А если я струшу перед смертью и убегу со всем этим багажом? — сказал Эрих, по-озорному блеснув глазами.

— Будем знать, что ты трус, но убивать тебя все равно не обещаем, если ты даже попадешься к нам еще раз, — сказал я как можно серьезно. — Только никуда ты не убежишь: через линию тебя не пустит Таранчик.

Мальчики насупились и молчали. Вокруг нас собрались солдаты.

— Уезжаешь, хлопчик? — спросил Эриха Жизенский. — Ну, до свидания. Смотри, больше мне не попадайся!

Все стали прощаться с ним.

— Будь счастлив, Эрих, и подумай обо всем, — сказал я. Он задержал мою руку в своих, вздохнул.

— Спасибо, господин лейтенант, за все, — тихонько сказал он и толкнул Ганса в бок, тот включил скорость, дал газ. Из глушителя вылетел клубок беловатого дыма, и мальчики умчались.

Вечером этого же дня мы лежали на своем излюбленном месте в саду. Слушали по заявкам солдат передачу из Берлина. Земельный и Соловьев, лежа перед шахматной доской лениво переставляли фигуры. Фролов перелистывал журнал. Жизенский, сидя на траве и привалившись спиною к стволу яблони, пришивал подворотничок.

Вдруг из репродуктора полились звуки знакомой песни:

Давно мы дома не были,
Цветет родная ель,
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель.

Перестали двигаться на доске шахматы, прекратилось шуршание журнальных страниц, замерла в руках Жизенского игла…

Из сада ушли, когда стемнело.

В пятом часу утра меня разбудил дежурный и сообщил, что по телефону приказано ждать смену часам к восьми утра.

— Поднимайте всех, — приказал я и быстро оделся.

Хозяйство наше было невелико, и мы свернули его до рассвета. Завтрак еще не был готов. Солдаты от нечего делать собрались в столовой, потому что только там оставалось все на своих местах. Во всех других комнатах было то, что бывает во всякой квартире, когда из нее уезжают жильцы.

— А давайте пока сходим к Таранчику, простимся, — предложил Карпов. И мы пошли. Пошли не как солдаты, не строем, а по-товарищески, тесной группой.

На вершине холма покойно стояли ветвистые буки. На сером фоне предутреннего воздуха темнела звезда на памятнике, виднелась металлическая оградка над могилой Таранчика. Заметив наше приближение, Митя Колесник, бывший здесь на посту, поднялся и размеренно зашагал вдоль линии, прижимая к груди автомат. Мы взошли на холм, окружили могилу…

Повеял прохладный ветерок, вспорхнула проснувшаяся пичужка и брызнули яркие лучи восходящего солнца. Они позолотили начищенную граненую звезду на памятнике, обагрили подернутые грустью лица солдат, заиграли на пиках

решетчатой оградки, оживили цветы на могиле.

Пройдут годы.

Разрушат, снесут колючую проволоку. А эта могила будет вечно напоминать потомкам о том, что всегда были на земле люди, которые не боялись умереть во имя будущего.

Прощай, дорогой наш товарищ!

…Когда мы вернулись на заставу, дежурный связист сообщил, что с десятого сентября, то есть через четыре дня, мне разрешается отбыть в отпуск на Родину. И странно: долгожданное известие не принесло той радости, которая грезилась в долгие месяцы ожидания.

Только теперь я понял, что не так уж легко покинуть то место, на котором остается погибший товарищ, где прожито несколько месяцев напряженной жизни.